
ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Виктор Колупаев
НЕБО, ГДЕ ЖИВУТ ЗВЕЗДЫ
«АЗБУКА»

Фантастика и фэнтези. Большие книги

Виктор Колупаев

Небо, где живут звезды

«Азбука»
2026

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-445

Колупаев В. Д.

Небо, где живут звезды / В. Д. Колупаев — «Азбука», 2026 — (Фантастика и фэнтези. Большие книги)

ISBN 978-5-389-32411-4

Формально Виктор Колупаев — сибирская школа фантастики, если можно делить фантастику по территориальной шкале. Как кто-то делит ее, например, на питерскую и московскую школы. Только это всё от лукавого. Реально фантастика — общечеловеческая материя, она «вне школ и систем», как написал Пастернак о Блоке. Впрочем, томский фантаст считал себя не совсем фантастом. «Мои рассказы стали называть фантастическими. Я не возражал, потому что меня не спрашивали. А если бы и спросили, я все равно бы не возразил, хотя уже почти знал, что ничего придумать нельзя». «Ничего придумать нельзя». Действительно, фантастика Колупаева стоит ногами на твердой почве. Реалистической, не придуманной. Едут ли ее персонажи в поезде из Фомска в Марград или слышат пение леса на далекой планете, украшают ли новогоднюю елку в другой галактике или оживляют земной любовью чужой безжизненный мир. Но при всей реалистической непридуманности писатель наделил большинство своих персонажей волшебным свойством — они видят глазами небо, где живут звезды. Роман «Фирменный поезд „Фомич“» — впервые в массовом издании, не считая малотиражных региональных, — публикуется в полной версии, почти вдвое длиннее той, что вышла в свое время из-под изуродовавших книгу ножниц цензуры. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-445

ISBN 978-5-389-32411-4

© Колупаев В. Д., 2026
© Азбука, 2026

Содержание

Билет в детство 7
Кто видел этот магазин? 7
Неудачная экспедиция 11
Билет в детство 15
Волевое усилие 21
Зачем жил человек? 35
Мама! 52
Вдохновение 56
Газетный киоск 63
Город мой 74
Весна света 79
Конец ознакомительного фрагмента. 80

Виктор Колупаев
Небо, где живут звезды

Составитель Александр Гузман
Оформление обложки Егора Саламашенко
Иллюстрация на обложке Виталия Еклериса

© В. Д. Колупаев (наследники), 2026
© А. Б. Гузман, состав, 2026 © Оформление.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
Издательство Азбука®

* * *

Билет в детство
Рассказы

Кто видел этот магазин?

В моем распоряжении оставалось еще пять часов, и я счел возможным побродить по Москве просто так, без всякой цели. Перекрестки улиц, проспектов и бульваров оставались позади. Я не знал, куда шел, и не запомнил дороги. Я надеялся, что в нужный момент случайное такси подбросит меня до аэровокзала.

Асфальт блестел чистенькими лужицами воды. Солнце еще не нагрело воздух до температуры полуденного зноя. Прохладный ветерок вежливо рылся в ветвях молодых деревьев.

Я присел на край скамейки в тени небольшого сквера. Приятно было сидеть после нескольких насыщенных спешкой и неотложными делами дней вот так, без всяких забот. Закинув голову, я наблюдал за фантастическим танцем ветвей на фоне голубоватого, с белесыми прожилками неба. Через некоторое время все перед глазами пошло кругом. «Голова закружилась», – беззаботно подумал я, принимая более удобную позу, и вдруг мое внимание привлек неестественно яркий свет неоновой рекламы. Свет неоновой рекламы среди бела дня. Огромные зеленые буквы на большом здании из стекла и бетона. Я вскочил со скамейки и отошел в сторону, так чтобы стволы деревьев не загораживали рекламу. Прочел надпись и не сразу сообразил, в чем дело. Прочел еще раз. «Фантастика». Ну конечно же! Это был магазин научной фантастики.

Не медля ни минуты, я выбежал из сквера, пересек в неположенном месте улицу и вскочил на крыльцо. Двери предусмотрительно распахнулись. Несколько ошеломленный, я стоял на пороге огромного холла.

– Добро пожаловать! – Ко мне спешил молодой человек с широкой улыбкой на добродушном лице. – Вы, наверное, впервые вошли в наш магазин?

– Да, впервые. Я даже и не предполагал, что есть такой.

– Тогда разрешите мне быть вашим гидом.

Мы вошли в первый зал. Он был наполнен солнечным светом. Свет не просто лился из окна. Он врывался могучим потоком. Собственно, и окна тоже не было. Была прозрачная, чистая и ровная стена. Три другие стены были заняты оригинальными удобными стеллажами с ровными рядами книг. Книг было огромное множество. В каком-то неуловимом на первый взгляд порядке стояли изящные столики с мягкими креслами.

– В этом зале, – начал гид, – у нас выставлена литература, которую нельзя назвать в общепринятом смысле научно-фантастической. Здесь легенды, предания, сказки, поэмы. Все это написано до новой эры. Литература этого отдела пользуется большой популярностью у некоторой части писателей-фантастов… Простите, но, может быть, вам все это неинтересно слушать.

– Конечно интересно. Но мне хотелось бы… – Я замялся.

– Говорите, пожалуйста.

– Фантастику шестидесятых годов двадцатого столетия, – выпалил я.

– О, это очень интересный отдел нашего магазина.

Мы не спеша шли по огромным залам. Гид успевал рассказать многое, пока мы проходили их. Здесь был зал с произведениями утопистов. Специальный зал был отведен произведениям Жюля Верна, Конан Дойла, Майн Рида. Зал космической фантастики, зал фантастики

киберов и роботов, зал фантастики с производственным уклоном. Залы американской, японской, французской, английской, немецкой и т. д. фантастики.

Это было потрясающее, незабываемое зрелище.

– А вот и интересующий вас зал, – сказал гид. – Что бы вы хотели посмотреть в первую очередь?

– Братьев Стругацких, – робко заикнулся я.

– Пожалуйста! Вот «Страна багровых туч». Иллюстрации Бориса Ефимова. – Гид взял с полки несколько книг. – А вот то же самое с иллюстрациями Веденеева. А это книга карманного формата. Здесь у нас двадцать четыре издания этого романа. Посмотрите, пожалуйста, повесть «Далекая радуга». Одиннадцать различных изданий. Вот сборники рассказов. Повесть «Путь на Амальтею», «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом». Всего в нашем магазине двести сорок шесть различных изданий произведений братьев Стругацких. Вы можете взять любую книгу и внимательно просмотреть ее или даже почитать. К вашим услугам, – гид сделал приглашающий жест, – удобные для чтения кресла.

– Спасибо, – поблагодарил я. – Я, пожалуй, что-нибудь посмотрю.

На полках и стеллажах стояли произведения Варшавского, Волкова, Войскунского и Лукодьянова, Гора, Громовой, Днепрова, Ефремова, Емцева и Парнова, Лагина и десятков других советских фантастов. Из зарубежной фантастики я успел посмотреть только Лема, Кларка, Брэдбери, Азимова и Шекли.

Состояние было дурацкое. Я все время боялся, что проснусь. Голова гудела. Что же мне взять? Самое интересное, самое главное.

– Не хотите ли чашечку кофе? У вас несколько усталый вид.

– Спасибо. С удовольствием.

– Что-нибудь выбрали?

Я покачал головой.

– Понимаю. В первый раз, конечно, трудновато.

– Хочется взять все.

– Ну, все не все… А десятка четыре книг вы, по-моему, возьмете.

– Видите ли, я сегодня улетаю… Понимаете…

– О, понимаю. Вас, наверное, беспокоит отсутствие денег.

– Да, именно это, – с облегчением ответил я.

– Деньги вы можете выслать в течение года.

Я, наверное, побледнел, потому что гид резко и, как мне показалось, испуганно нажал какую-то кнопку на своем кресле. Предо мной стояла вторая чашка черного натурального кофе и эклер.

– Сколько людей работает в этом магазине? – спросил я, допивая кофе.

– Четыреста двадцать семь.

– И все они так же уверенно разбираются в фантастике?

– О, конечно. Вы ведь тоже, наверное, разбираетесь в своем деле.

– Но… я ведь кончил институт!

– И мы все кончили институт.

– Какой?! – жалкий вопль вырвался из моего горла.

– Институт фантастики.

Это было уже слишком.

– Вычислительная машина проанализировала ваши вкусы, пока вы осматривали стеллажи. Разрешите упаковать книги?

– Да. – Мне было уже все равно. Я вытащил из кармана паспорт и подал его гиду. – Запишите адрес.

Гид взял паспорт, и глаза у него приняли выражение, похожее на то, какое только что было у меня.

– Вы родились в тысяча девятьсот тридцать шестом году?

– Да.

– Это не ошибка?

Я рассеянно пожал плечами. К гиду подошла девушка и что-то шепнула ему на ухо. Лицо гида приняло еще более растерянное выражение. Отрывки фраз долетали до моего уха: «Это уже третий случай…» – «Но как это объяснить?» – «Институт пределов знаний занимается этим вопросом…» – «Значит, он из про…» Девушка прижала палец к его губам, дружески улыбнулась нам обоим и отошла в сторону.

– В дорогу я рекомендую вам сборники рассказов Лема и Брэдбери, – сказал гид, странно разглядывая меня.

– Хорошо. Спасибо, – ответил я и посмотрел на часы. До вылета оставалось тридцать пять минут. Это меня несколько отрезвило…

В аэропорту стояла обычная атмосфера ожидания и спешки. Объявили посадку на мой рейс. Около самого выхода стоял газетный киоск. Казалось, что его брали на приступ. Сдержанный гул, треск отрываемых пуговиц. Из толпы вылетел полураздавленный старичок, с победным видом держа в вытянутой тощей руке небольшой журнал.

– Достал все-таки, – радостно заорал он мне почти в самое ухо.

– Я так рад за вас, – ответил я, стараясь придать своему голосу иронический оттенок.

Старичок ничего не понял.

– «Искатель» достал, – продолжал умиляться он.

Давка около киоска не рассасывалась. Мне стало жалко их, хотя еще три часа назад я не задумываясь выстоял бы любую очередь за самым маленьким научно-фантастическим рассказом.

– Товарищи! – заорал я. – Граждане! В магазин фантастики поезжайте. Там же черт знает сколько ее.

Человека два подошли ко мне поближе. Остальные явно считали меня жуликом. Некоторые укоризненно качали головами.

– Там и Брэдбери, и Стругацкие, и Лем, и всё есть! – орал я, потрясая двумя томиками.

– Продай за пятерку, – сказал один из двоих.

– Что вы. Я не продаю.

– Спекулянт несчастный, – отрезал парень, сплюнул и, не оглядываясь, пошел прочь.

– Да нет, вроде не похож, – сказал второй. – Наверное, того. – И парень покрутил указательным пальцем около своего виска.

– Гражданин! Вы почему не проходите со всеми? – властным тоном сказала девушка в форме работника аэропорта.

– Простите, – устало сказал я и поплелся к самолету.

Дома меня уже ждала посылка. Сорок три книги научной фантастики.

«А вы не поверили, несчастные», – с чувством превосходства подумал я.

Однажды, это было уже зимой, после не особенно приятного дня я сидел на диване, приняв удобную позу, и вдруг вспомнил до мельчайших подробностей свое посещение магазина «Фантастика». Вспомнил разговор гида с девушкой, вернее, отрывки фраз… Не может быть! Как я раньше не догадался. Я вскочил, раскрыл первую попавшуюся книгу из магазина «Фантастика». Так и есть. На титульном листе внизу стояло: «2066 г.».

И так на всех книгах.

На всякий случай я написал письмо в магазин… Мне сообщили, что такого магазина нет и улицы нет.

Но ведь все было!.. Ведь должны быть еще те двое, о которых упоминала девушка.

Отзовитесь! Отзовитесь те, которые видели удивительный, огромный, с сотнями тысяч книг магазин «Фантастика»!

1966

Неудачная экспедиция

ОТ АВТОРА

В ряде рассказов советских фантастов высказывается интересная мысль о том, что некоторые выдающиеся умы человечества и мифологические герои (Джонатан Свифт, Мефистофель, Вечный Мельмот и другие) были пришельцами из космоса. Мысль эта мне чрезвычайно понравилась. Я нисколько не сомневаюсь, что в скором времени будет строго научно доказано, что все великие люди Земли (включая и Альберта Эйнштейна) на самом деле были звездными пришельцами. Боясь, что меня кто-нибудь опередит, я не стал писать о каждом из них, а решил рассказать:

1) о целях экспедиции пришельцев;

2) об одном наиболее известном из них;

3) о том, чем закончилась эта экспедиция.

1

Роз Щучь крупными, резкими шагами ходил из угла в угол. Правая рука судорожно сжимала волевой подбородок. Левая поддерживала правую.

– Все впустую! Все зря! Что скажет Высший совет?!

Перо самописца, регистрирующего степень взволнованности, вычертило огромный остроконечный импульс, зашкалило и в следующее мгновение разлетелось вдребезги. Сработала автоматическая защита от нервных перегрузок, тело Роза Щуча сорвалось с места и стремительно влетело в индивидуальный успокоитель психики. Через несколько минут двери успокоителя открылись. Щучь вышел решительный и сосредоточенный.

– Еще не все потеряно!

Он мысленно приказал соединить себя с отсеком управления.

– Всем немедленно собраться в салоне принятия оптимальных решений.

Роз Щучь, командир космического лайнера Ы739-82-Ь, твердыми шагами вошел в салон, приветствуя обеими руками экипаж.

– Все ли присутствуют?

– Все, кроме трехсот тридцати семи носителей истины, – ответил хранитель новейшей информации Брано Кур.

– Мы собрались, чтобы принять решение, я имею в виду – оптимальное решение, относительно вопроса, касающегося, возможно, даже имеющего очень непосредственное отношение к проблеме, заключающейся в том, что нам необходимо принять решение, я имею в виду оп… Включить анализатор речи!

Мельвеций У защелкал кнопками анализатора краткой речи.

– Излагаю суть, – снова начал Роз Щучь. – Цивилизация на планете Земля, как вам известно, проходит первую стадию развития из тысячи ста трех, пройденных на нашей родной планете. Целью нашей экспедиции было ускорение развития земной цивилизации. Для этого мы высадили на Земле в разных пунктах и в разное время триста тридцать семь носителей истины. А что толку!

В салоне поднялся шум. Послышались возгласы: «Хватит!», «Бесполезно!», «Сами разберутся!».

– У нас осталось всего два носителя истины: Е Мель и Ива Нушка. Но не рано ли нам говорить: «Сами разберутся!»? Не должны ли мы испробовать все методы до последнего?

– Мы готовы! – радостно вскричали последние носители истины.

– Благодарю! Я не сомневался в этом. Нам необходимо подвести итоги и разработать тщательно продуманный план действий. Ваше слово, Сципион Ха.

Хранитель отдела информации, имеющей исключительно историческую ценность, включил систему тотальной памяти и произнес:

– Первый носитель истины был высажен в то время, когда Александр Македонский начал завоевание Индии. Прекратить кровопролитную войну оказалось чрезвычайно просто. Носитель истины преподнес полководцу черную корону с серыми кристаллами и сказал, что простому смертному надевать корону на голову нельзя. Ход был рассчитан точно. Строптивый полководец водрузил корону на свое чело и… как нам всем хорошо известно… потерял память. Забыв, зачем он пришел в Индию, Александр повернул свои войска назад. На этом полоса удач кончилась. Колесо Фортуны завертелось в другую сторону.

– А предыдущая экспедиция, высадившаяся на Парнасе?

– У нее были чисто исследовательские цели. Не будем отвлекаться. Далее идут одни неудачи. Демокрит…

– Он сам виноват! – раздался голос с места. – Разве можно было так рано говорить людям о квантовании пространства и времени?

– А чем лучше Аристотель? Пытался подделаться под них. Ввел сферы. И что вышло?

– Да и Лукреций Кар хорош. Сколько времени угробил на шлифовку рифм!

– Что значит – угробил?

– А Вечный Мельмот?

– Спокойнее, спокойнее!

– Я вам говорю, вы зря включаете локальный глушитель. Я ведь и в письменном виде вас спрошу: «Почему Мефистофель пошел к ним в скафандре?» А! Включили все-таки!

– Что такое – угробил?

– Убил! Умертвил!

– Лукреций убил время? Не может быть! Не верю!

– А вы бы пошли без скафандра? Шпага – штука острая!

– Сколько жертв, сколько жертв!

– Джонатан Свифт стал несчастным.

– А Джордано Бруно?!

– А Коперник!

– Галилей!

В салоне стояла жуткая антитишина. Стрелки самописцев бешено бились об ограничители.

«Что случилось с автозащитой от нервных перегрузок?» – с тоской подумал Роз Шучь.

В это время защита сработала, и тела всех присутствующих стремительно втянулись в коллективный успокоитель психики.

Прошло не менее получаса, прежде чем все вышли из него. Решительные и сосредоточенные. Единогласно приняли: послать на Землю Е Меля. Греция, Рим, Франция, Англия и прочие места из списка высадки, как абсолютно бесперспективные для быстрого развития цивилизации, были исключены. Осталось одно: высаживаться в тридевятом царстве, тридесятом государстве.

2

Е Мель закидал сучьями вездеход и пошел по заснеженному полю.

Внесение истины началось исподволь.

Е Мель остановился в доме у хромого старика. На другой день два сына старика уехали на базар, а бабы, невестки, стали посылать:

– Сходи, Е Мель, за водой.

Носитель истины срочно обдумывал на печи план дальнейших действий и поэтому ответил:

– Неохота.

– Сходи, Е Мель, а то братья с базара воротятся, информации не привезут.

– Ну ладно, – сказал Е Мель, вспомнив, что ему нужно сделать отчет командиру корабля, слез с печки, обулся, оделся, взял ведра, антигравитационные прокладки, плазменный резак и пошел на речку.

Прорезал лед, зачерпнул воды и поставил ведра, а сам стал вызывать по рации ближнего действия робота-связиста. Робот-связист, выполненный в виде средних размеров рыбины, появился в проруби. Е Мель вытащил его на лед, нажал несколько кнопок, покрутил ручки настройки и отчитался перед Розом Шучем о событиях последнего дня. Затем отпустил робота в прорубь, прикрепил антигравитационные прокладки к днищам ведер и сам пошел за ведрами.

Идут ведра по деревне, народ дивится, а Е Мель идет сзади, посмеивается… Зашли ведра в избу и сами стали на лавку, а Е Мель полез на печь обдумывать способы ускорения развития земной цивилизации.

Прошло много ли, мало ли времени. Вездеход на антигравитационной подушке возил дрова из лесу. Энергороботы рубили эти дрова. Все шло по заранее намеченному плану.

Но однажды произошел непредвиденный случай: вышла из строя система комплексного восприятия вездехода, и он помял много народу. Инцидент получил широкую огласку. Слухи дошли до царя. Е Меля пригласили во дворец. Тут-то впервые и увидел Е Мель Марью-царевну. Немедленно связался он с космическим лайнером и высказал Розу Щучу новое, оригинальное решение проблемы: необходимо сделать так, чтобы Марья-царевна полюбила носителя истины и вышла за него замуж. Царь даст ей в приданое царство. Е Мель станет главой государства и путем законодательства ускорит развитие цивилизации на Земле.

Роз Щучь с трепетом в сердце выслушал Е Меля и сказал:

– Не возражаю. Даже более того, приказываю тебе сделать именно так!

– По шучьему веленью, по моему хотенью – пускай царская дочь меня полюбит, – прошептал Е Мель.

В тот же миг лавина информации в тринадцатиричном коде о любви с первого взгляда и счастливом замужестве обрушилась на Марью-царевну. И она немедленно полюбила Е Меля.

Но не так-то просто было ускорить развитие цивилизации. Еще много раз Е Мелю приходилась обращаться за помощью к Щучу, прежде чем царь сказал:

– Женись на моей дочери, Емелюшка, бери мое царство, только не губи меня!

Тут устроили пир на весь мир. Е Мель женился на Марье-царевне и стал править царством.

Но, к великому отчаянию Роза Щуча, Е Мель пристрастился к медовухе и пустил дело развития цивилизации на самотек.

Та же участь постигла и Ива Нушку.

3

Роз Щучь, еле передвигая ноги, подошел к иллюминатору.

– Все погибло. Все.

Его уже не страшило, что он скажет Высшему совету. Вся энергия корабля была съедена успокоителями психики. Обратный путь отрезан. С тоской и печалью глядел командир космического лайнера Ы739-82-Ь на странную планету. Ускорить развитие цивилизации не удалось.

Но что это! Роз Щучь протер глаза. Наваждение! Мимо иллюминатора проплыл шар. Конус. Рога антенн. Это же космические корабли! Откуда? С Земли? Чушь!

– Сигнал внимания. Всем немедленно собраться в салоне принятия оптимальных решений.

Роз Щучь трясущейся походкой вошел в салон.

– Все ли присутствуют?

– Все, кроме трехсот тридцати девяти носителей истины, – ответил хранитель новейшей информации.

В это время дверь салона широко распахнулась. На пороге стоял человек в скафандре с открытым шлемом.

– Кто это? – выдохнули сидящие в зале.

– Я – ЧЕЛОВЕК С ЗЕМЛИ!

– Невозможно!

– Немыслимо!

– У вас же первая стадия развития цивилизации.

– Дикость!

– Без нас вы так и должны были остаться в невежестве.

Зачем вы здесь?

– МЫ НАШЛИ СПОСОБ ПОМОЧЬ ВАМ. НАШ КОСМИЧЕСКИЙ ЛАЙНЕР «ИСКАТЕЛЬ» УХОДИТ К ВАШЕЙ ПЛАНЕТЕ ЗАВТРА. ОДИН ОТСЕК ЕГО В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ.

– Но как? Как это объяснить?

– Мы послали к вам Демокрита, Аристотеля, Лукреция!

– Бруно!

– Галилея!

– Свифта! Леонардо!

– Ньютона!

– Сотни носителей истины!

– И они не могли ускорить развитие вашей цивилизации.

– Как все это объяснить? Почему вы здесь?

– ПОТОМУ, ЧТО У НАС БЫЛ СВОЙ ДЕМОКРИТ! СВОЙ ЛУКРЕЦИЙ! СВОЙ ДЖОРДАНО БРУНО! КОПЕРНИК! ГАЛИЛЕЙ! СВОЙ НЬЮТОН! СВОЙ БЕТХОВЕН! ШЕКСПИР! СВИФТ! СВОЙ РИМАН! КЮРИ! ЭЙНШТЕЙН!

1966

Билет в детство

Этот вокзал не был похож на все другие. Здесь никто никого не встречал и не провожал. Никто не суетился, не спешил и не опаздывал. Здесь не было камер хранения и носильщиков, потому что никто из пассажиров даже на одно мгновение не захотел бы расстаться со своим багажом, состоящим из воспоминаний о прошлом и мыслей о будущем.

Сюда приходили после глубоких раздумий. Одни – предчувствуя приближающуюся смерть; другие – перед тем, как навсегда улететь с Земли; третьи – чтобы полнее осознать сущность своего Я, сравнить себя с эталоном, на который еще не налипли комья сомнений, страха, зависти, пошлости и себялюбия, который еще не согнулся под тяжестью повседневных забот и волнений.

Были и такие, что приходили сюда от безделья. Но вокзал не прощал людям насмешек и оскорблений. На них страшно было смотреть, когда они возвращались, так стыдились они своего настоящего. Но этих было мало, или они просто не решались появляться здесь.

Я уже давно ощутил потребность встретиться с самим собой, задать самому себе несколько вопросов и самому же на них ответить. Эта потребность росла во мне с каждым днем, и однажды я не выдержал и пошел на вокзал.

– Билет в детство, пожалуйста, – сказал я в окошечко кассы и через пять минут уже сидел в жестком вагончике допотопной конструкции, с нетерпением ожидая свистка паровоза.

В купе рядом со мной оказалась старушка с корзиной фруктов и конфет. Волнение, с которым она поминутно перебирала ее содержимое, могло рассмешить кого угодно, но только не в этом поезде. Ее можно было понять. Ведь она ехала к маленькой девочке, в свое детство, наверняка давно и прочно забытое. Дети любят сладкое – только это она и помнила из всего, с чем ей предстояло очень скоро встретиться.

Напротив сидели мужчина с поседевшими висками и старик. Я знал этого мужчину по его портретам из журналов. Это был известный пианист. Перед каждым концертом он ездил в свое детство. Утверждали, что именно это делает его концерты неповторимыми, удивительными, но я слабо верил в эту версию. Многие музыканты ездили в свое детство, но что-то мало среди них было гениев.

Старик сидел, положив руки на массивную трость. Он вез в подарок своему детству только мудрый взгляд своих уставших глаз.

Поезд тронулся… Мимо проносились телеграфные столбы, размеренно стучали колеса, изредка раздавался свисток паровоза. Кто-то в соседнем купе потребовал у проводника холодного пива и потом долго ворчал, возмущаясь плохим обслуживанием.

Прошел грустный и задумчивый час. Вдали за поворотом уже можно было различить платформу.

– Приехали. Станция, – объявил проводник.

Все начали торопливо собираться и сбились в проходе.

– Суздаль! – удивленно сказала моя соседка.

Это был Загорск. Для меня это был Загорск. А для нее – Суздаль. Для старика – Пенза или Сызрань. Каждый приехал в город своего детства. Я уже видел золоченые купола Троице-Сергиевой лавры. А кто-то видел тайгу, стремительное течение Енисея, ленивую гладь Онежского озера.

Загорск… А я даже и не знал, что это мой город. Я не помнил своего детства.

Вагон быстро опустел. Старушка увидела в толпе встречавших пухленькую девочку, замахала ей платком и заплакала. Пианист положил руку на плечо мальчугану, и они пошли к виадуку, очень серьезные и сосредоточенные. На платформе было шумно и тесно, но постепенно люди расходились.

Меня никто не встречал. Я несколько раз махал рукой мальчишкам, но к ним почти тотчас же кто-нибудь подходил. Каждый раз это оказывался не я. Трудно представить, каким ты был в детстве, тем более что у меня не сохранилось ни одной фотографии того времени. Я вообще сомневался, были ли они.

Через десять минут около поезда почти никого не осталось. Только на самом краю платформы десятилетний мальчишка в майке и не по размеру больших брюках сосредоточенно пинал носком ободранного ботинка стаканчик из-под мороженого.

– Сашка! – крикнул я.

Но он, даже не взглянув в мою сторону, спрыгнул с платформы, пересек железнодорожные пути и скрылся за углом здания.

Я так ждал встречи со своим детством, так надеялся, что это поможет мне обрести утраченную в последнее время уверенность в себе, поможет мне лучше понять свои поступки. Эта встреча была необходима мне.

А он не пришел…

Искать его в городе не имело смысла. Я бесцельно проболтался на вокзале около часа, дожидаясь, когда объявят посадку на обратный поезд.

Весь путь до Усть-Манска меня не покидало ощущение какой-то невосполнимой утраты. Почему он не пришел? Почему? Соседи по купе были погружены в свои мысли, лишь одна женщина все время пыталась рассказать о своих проказах сорокалетней давности, но никак не могла найти внимательного слушателя.

Не успел я сойти с поезда на вокзале в Усть-Манске, как меня вызвали к диспетчеру.

– Простите, – сказал молодой парень в железнодорожной форме, когда я вошел в диспетчерскую и назвал свою фамилию. – Мы виноваты в том, что испортили вам настроение. Что-то произошло с системами волноводов темпорального поля. А может быть, темпограмма не дошла до адресата, и поэтому он не пришел вас встречать.

– Он мог и не захотеть со мной встретиться. – Я махнул рукой, собираясь выйти.

– В следующий раз это не повторится, – заверили меня. – Мы все проверим. Можете ехать в детство хоть завтра.

– Вряд ли в ближайший месяц у меня будет свободное время, – ответил я и вышел, не попрощавшись.

Мы ставили один важный эксперимент, и времени действительно не хватало.

И все же на следующий день я снова был на вокзале, снова ехал в дряхлом вагончике, снова стоял на пустеющем перроне.

На краю платформы, как и вчера, я увидел мальчишку.

– Сашка! – крикнул я. – Это же ты! – Я чувствовал, я твердо знал это.

Он хотел спрыгнуть с платформы, но передумал и остался стоять, глядя себе под ноги. Я бегом кинулся к нему, схватил за плечи, сжал. И вдруг он прижался к моей груди. На секунду, не более. Затем оттолкнул меня и, глядя исподлобья, сказал:

– Так вот ты какой?!

В его голосе было очень много от взрослого мужчины. И вообще для мальчика он выглядел очень серьезным.

– Сашка! Значит, ты все-таки узнал меня?

– Еще бы. Но только я не Сашка. Меня все зовут Роланом… Ну то есть Ролькой.

– Но ведь меня-то зовут Александром. Значит, и ты – Сашка.

Он пожал плечами.

Я в свои сорок лет выглядел еще крепким человеком. А он был нескладный и худой.

– Послушай, Сашка. Я буду называть тебя Александром, а не Роланом. – (Здесь он снова пожал плечами, как бы говоря: «Как хочешь».) – Почему ты такой тощий, чертяка? Тебе надо заниматься спортом, иначе долго не протянешь.

На мгновение мне показалось, что его глаза смеются надо мной, и я тоже расхохотался. Какую глупость я только что ляпнул! Ведь я стою перед ним живой и здоровый. Как же в таком случае он может долго не протянуть? Вот ерунда-то.

Он тоже засмеялся, и мы дошли до самого виадука, даже не пытаясь что-либо сказать друг другу из-за распиравшего нас смеха.

Привокзальная площадь была не такой, какой я ее привык видеть. Бывая в Загорске, я почти всегда заходил в кафе «Астра». Но сейчас его еще не было и в помине. Справа доносился гомон базарчика, который не могли заглушить даже паровозные гудки.

– Ну ладно, Сашка, – сказал я. – Трудно ведь сразу вести себя так, чтобы кому-нибудь из нас не было смешно. Я еще не раз попаду впросак. И это вовсе не означает, что мы с тобой не должны где-нибудь пообедать.

– Я не хочу, – сказал Сашка. – Нас уже кормили.

«А что он думает на самом деле? – попытался сообразить я. – Если бы я хотел есть, то никогда бы не отказался, если бы предложение исходило от такого человека, как сам я. Ага! Но ведь я-то взрослый человек, я все понимаю. А он?»

– Не хочешь – так не хочешь, – сказал я. – Расскажи-ка лучше, как ты живешь? Кто твои друзья?

– Только не надо допросов, – ответил он, и я понял, что мои вопросы действительно похожи на анкету, на которую нельзя ответить искренне.

Мы подошли к базарчику, и я спросил:

– А мороженого хочешь?

– Ага! – радостно ответил он.

– С орехами или пломбир?

– Ну да, с орехами! Такого и не бывает.

– Посмотрим, – загадочно сказал я, но у женщины, продававшей мороженое, действительно не было ни того ни другого. Я спросил ее на всякий случай, но лучше бы я этого не делал. Она вдруг раскричалась на меня: «Ишь чего захотел!» Сашка потянул меня за руку:

– Пойдем…

Но я все же купил порцию обыкновенного молочного мороженого. Сашка взял его, глядя в сторону, но мне еще пришлось раза два сказать ему: «Ешь, чего ты?», прежде чем он развернул бумажку. И тут, как мне показалось, он забыл про меня. Сразу стало видно, как он хотел это мороженое. Обыкновенный десятилетний мальчишка. Он закапал мороженым свои широченные брюки.

– А ты научился лечить неизлечимые болезни? – неожиданно спросил он меня.

Я растерялся.

– Откуда ты это можешь знать? Ведь я занимаюсь этим всего лет двадцать. И начал совершенно случайно. Неужели я думал об этом еще тридцать лет назад?

– Но ведь я – это ты, – сказал он. – Только в детстве. Я знаю про тебя больше, чем ты про меня, потому что я всегда хотел, чтобы ты был похож на меня, чтобы ты занимался тем, чем хочу заниматься я. Я этого очень хочу.

В нем как-то странно сочетались детская наивность и суровость взрослого.

– Нет, Сашка, я еще не научился лечить неизлечимые болезни. Но я думаю, что скоро это станет возможным.

– Правда? – обрадовался он.

– Правда. – Я потрепал его по макушке. – Но только мне очень не хватает времени. Тебе хорошо. Ты еще не замечаешь, как быстро бежит время.

Он бросил на меня стремительный взгляд, чуть насмешливый и странный, словно он знал что-то, что очень важно для меня, но еще не считал нужным сообщить это мне. Выцветшие

брюки сидели на нем мешком. Рубашка в клеточку выгорела. «Несладко же тебе приходится», – подумал я.

– Мне тоже не хватает времени, – сказал он наконец.

– Вот как?! – рассмеявшись, спросил я. – И чем же ты занимаешься, что у тебя не хватает времени?

– Я хочу, чтобы ты получился счастливым…

– Ну что ж. Считай, что я таким и получился. Только знаешь ли ты, что такое счастье?

Он не ответил на мой вопрос, словно и не слышал его.

– И еще я хочу, чтобы люди становились счастливее оттого, что ты есть.

Вот уж этого-то я не знал наверняка. Счастливы ли люди оттого, что я есть? Нет, я не мог это утверждать с уверенностью…

– Ты очень серьезный, Сашка. Это все-таки плохо в твоем возрасте.

– Это хорошо.

– Не будем спорить. А почему ты вчера не подошел ко мне?

– Ты ведь тоже не сразу приехал ко мне. А почему я должен был сразу броситься к тебе? Я тебя тоже ждал.

– Прости.

Мне показалось, что между нами внезапно возникла стена отчуждения, что мы чужие друг другу и что я никогда не смогу понять его, этого десятилетнего мальчишку, то ли потому, что взрослые вообще плохо понимают детей, то ли потому, что он умнее меня. Но последнее я отбросил сразу же, потому что еще не мог согласиться, что с годами глупею. Во всяком случае, до встречи с ним это мне и в голову не приходило.

Мы долго бродили по городу. Я узнал, что и он не помнит отца и мать, что он живет в интернате. Его неразговорчивость, некоторую скрытность я отнес за счет того, что это была наша первая встреча. Трудно говорить много и только веселое, когда впервые увидел сам себя.

Позже я понял, что хотя он и говорил меньше, чем я, но именно он направлял наш разговор. Он экзаменовал меня, делая это незаметно, ненавязчиво. И я вынужден был согласиться, что он чем-то все-таки умнее меня. Не суммой знаний, которые я накопил за свои сорок лет. Конечно нет! Может быть, своей системой мышления, своей способностью точно знать, что же он хочет, своей удивительной собранностью и иронией. Грустной-грустной, немальчишеской иронией.

Мы договорились встретиться еще. Я уехал с вечерним поездом. В последнюю минуту, когда я уже был в тамбуре вагона, он весело засмеялся, несколько раз лихо подпрыгнул и крикнул:

– А ты ничего! Не совсем такой, как мне хотелось, но все же ничего. Пока!

И стена отчуждения исчезла между нами. И снова это сделал он. Сделал, когда сам захотел.

– Пока, Сашка! – крикнул я.

Поезд тронулся. Как мне было легко! Радость, непонятная, странная, необыкновенная, распирала мою грудь.

И все-таки я не знал, не мог предполагать, как нужна была мне эта встреча. Я стал работать так, как не работал уже давно. Небывалое вдохновение овладело мной. Теперь я был уверен, что эксперимент пройдет удачно. Я сделаю то, о чем мечтал еще в детстве.

Несколько месяцев промелькнуло незаметно. Целый ряд больших и маленьких удач, бессонные ночи, мимолетные сомнения, ожесточенные споры и захватывающие обсуждения, встречи и командировки. Наш институт работал над очень трудной и важной проблемой. Мы разрабатывали мгновенные нехирургические методы лечения травм на расстоянии. Короче об этом можно рассказать на примере. Человек упал с обрыва и разбился. Пока его доставят в ближайшую клинику, будет уже поздно. Мы разрабатывали методику и аппаратуру, которая

позволяла этот мешок костей и боли превратить снова в человека, так что он даже не успевал почувствовать боли. Человек падал с обрыва и тут же вставал совершенно целым и невредимым.

Мы хотели уменьшить количество нелепых смертей. И у нас это уже получалось. Теперь я мог сказать: «Да, люди будут счастливее оттого, что я есть». Сказать только Сашке, то есть самому себе, и никому больше.

Только через полгода я снова выбрал время и купил билет в детство… Сашка на вокзал не пришел.

«Детская нелепая выходка, – подумал я. – Обиделся, что я долго не приезжал». А у меня было что рассказать ему из того, о чем он мечтал.

Расстроенный, я вернулся в Усть-Манск. На вокзале меня снова пригласили в диспетчерскую.

– Что-нибудь с темпограммой? – с надеждой спросил я.

– Нет, темпограмму мы послали. Дело вот в чем… У вас не было детства… Это невероятно, но это так.

– Что за ерунда! Ведь я видел… я уже разговаривал с Сашкой.

– Это был не Сашка, то есть это были не вы в детстве. Это был Ролан Евстафьев.

Ролан Евстафьев. Я не знал такого, но фамилия была мне знакома.

– У вас не было детства.

– Но почему же тогда он приходил встречать меня? Да нет же! Это именно он, то есть я. Я это чувствую.

– У вас не было детства. Это случается по разным причинам. Очень редко, но случается.

Мне дали стакан воды. Наверное, вид у меня был растерянный и жалкий. Я плюхнулся в кресло, не в силах выйти сейчас на улицу. Меня не тревожили и больше ничего не говорили. Да и что могли они сказать? Они выяснили, что у меня не было детства. Почему и как это произошло, они не знают. И помочь тут они мне ничем не могут.

Когда у человека бывает трудное детство, говорят, что у него не было детства. Война, тяжелая болезнь, жестокое отношение окружающих людей… Да! Но у меня-то не было детства в прямом смысле, как мне только что сказали.

Я немного пришел в себя. Настолько, чтобы нормально двигаться, не вызывая подозрительных взглядов прохожих.

Через час я добрался до своей лаборатории. Было уже довольно поздно, и в комнате работало только два человека. Я сел за свой стол и попытался собраться с мыслями. Через некоторое время лаборатория опустела. Может быть, перед уходом они что-нибудь и говорили мне, но я не слышал… Только за стеной раздавался стрекот печатающей машинки. Это Елена Дмитриевна перепечатывала материалы наших экспериментов.

Я сидел за столом и вспоминал. Выискивал в своей памяти факты и сопоставлял их, и вспоминал, вспоминал.

Двадцать лет назад я очень долго болел. Во время болезни я потерял память. Я не помнил ни друзей, ни знакомых, ни самого себя до этой болезни. Странно, но в моей памяти отчетливо сохранились все знания и опыт начинающего молодого ученого. Исчезло только то, что касалось лично меня. Я как бы родился заново. Ко мне часто приходила одна девушка, Лена Евстафьева. Елена Дмитриевна Евстафьева. Двадцать лет она работает моим секретарем. Однажды вечером, это было уже после болезни, примерно через год, она вдруг заплакала за своим столиком, заставленным телефонными аппаратами и заваленным деловыми бумагами и папками. Я приподнял за подбородок ее мокрое от слез лицо.

– Я все равно люблю тебя, – сказала она.

Это было так неожиданно. И потом, почему «все равно»?

Она встала и ушла. Ушла из института единственный раз в жизни раньше меня. На мой безмолвный вопрос она ответила:

– Не спрашивай. Ничего не было.

И я ничего не спросил у нее. Почти два десятка лет мы работаем вместе, и я ни разу не нашел времени поговорить с ней о ней самой и обо мне. Нет… Я просто боялся услышать от нее что-то… Что? Не знаю…

Замуж она не вышла. Я был женат, но недолго и неудачно.

Лена Евстафьева.

Я не помнил первой половины своей жизни, но был уверен, что Лены в ней не было.

Я набрал номер справочной и попросил продиктовать мне списки лиц, работавших в институте двадцать лет назад. Тогда это была еще просто большая лаборатория. Монотонный голос называл фамилии… Абрамов… Волков… Ролан Евстафьев.

Стоп! Он работал здесь же. Я продолжал вспоминать. Нет. Я не помнил такого.

Перебирая личные дела, я узнал, что Ролан Евстафьев умер в тот день, когда я потерял память. Потерял память?!

И тут я понял. Я никогда не терял памяти. Меня просто не было. Я возник… стал существовать в тот день, когда он умер.

Кто я? Киборг? Киборг, у которого вырезан аппендикс и который часто страдает насморком? Нет.

Его сознание, его Я вписали в мое тело? Нет.

Он создал меня и умер. Тут, конечно, ни при чем ни мое тело, ни даже клеточки головного мозга. Он создал меня в каком-то более сложном, более совершенном смысле этого слова. Он создал мой образ мышления, мой интеллект. И я должен быть таким, каким он хотел видеть меня.

А тот мальчишка? Ведь он уже все продумал в свои десять лет, потому он так странно и говорил со мной. Он уже знал, что я – это то, что он создаст в будущем, когда поймет, что уже ничего не успеет сделать сам.

Меня не должно было быть. Я не был предусмотрен штатным расписанием природы. Он создал меня.

У меня не было детства. Он подарил мне кусочек своего детства.

В соседней комнате зазвонил телефон. Елена Дмитриевна взяла трубку.

Я никогда серьезно не любил женщину. Он подарил мне ее.

Теперь я знаю. Я всегда любил ее. Я скрывал это от себя. Я обманывал и себя, и ее.

Он, десятилетний мальчишка, сделал для меня все, ничего не попросив взамен… Лишь одна порция мороженого. Он только раз захотел встретиться со мной, чтобы проверить, правильно ли он поступит однажды, когда-то в будущем.

Я слышу, как Лена встала со стула и идет к дверям моей лаборатории легкой, красивой походкой.

Ей тридцать семь лет. Она жена Ролана Евстафьева, которому я обязан всем.

Сейчас она откроет дверь, и я все спрошу. Я спрошу ее, кто я.

И она мне все расскажет.

Дверь открывается.

Сейчас я все узнаю.

1969

Волевое усилие

– Нанни, – сказал руководитель Совета, – сейчас придут директор Института и еще… из комитета по внутригалактическим проблемам. Вызови двух специалистов по середине двадцатого века.

Нанни, начальник отдела в Институте Времени, не стал спрашивать, что случилось. Очевидно, случилось что-то страшное, если они все – сюда. Он перебрал в уме своих сотрудников. Что ж, пожалуй, Сантис. Ну, Александр Тихонович Самойлов. И его друг Эрд.

– Желательно, чтобы ты, Нанни, понимал их без слов и чтобы они так же понимали друг друга. Здесь важен общий образ мышления.

Нанни кивнул. В комнату вошли еще трое. Кроме своего директора, Нанни никого не знал. Он хотел было встать из-за стола, но руководитель Совета остановил его:

– Решим – тогда будем знакомиться. Дело в следующем. Время – тысяча девятьсот семидесятый год. Вот город. Название организации. Нужно выполнить их план. Точнее – план одного отдела.

– Вы знаете, что это такое – вторжение в чужое время? Что это может за собой повлечь? Ведь у нас все в стадии эксперимента.

– Знаем. Туда нужно послать человека, разбирающегося в радиоэлектронике двадцатого века. А здесь оставить человека, знакомого с нашей аппаратурой.

В дверях появились Сантис и Эрд.

– Начнем сейчас же, – сказал руководитель Совета. – Поэтому я и пришел сюда сам. В дальней звездной системе потерпел аварию корабль «Вызов», вылетевший с Земли сто лет назад…

Засунув руки в карманы осеннего пальто, Самойлов шел на работу. Каким образом его оформили на должность старшего инженера, ему самому так и осталось неизвестным. Поднялся на третий этаж инженерного корпуса.

– Ха! Новенький явился! – Таков был первый возглас в ответ на его негромкое приветствие.

– Где работал? Что кончал? Что новенького? – Вопросы градом сыпались на слегка растерявшегося Самойлова.

– Здравствуй, Александр Тихонович! – галантно раскланялся начальник отдела. – Верещагин… Верещагин Юрий Юрьевич.

Самойлов промычал в ответ что-то нечленораздельное.

Начальник лаборатории, в которой предстояло работать Александру, запросто похлопал его по сутуловатой спине, причем для этого ему пришлось слегка приподняться на цыпочки.

Остальные, гурьбой обступив новичка, вразнобой называли свои имена и фамилии. Александр смущенно кивал головой.

Постепенно все отошли от Самойлова, но шум не умолкал. Техник Свидерский ни с того ни с сего начал рассказывать грустную историю из собственной удивительно невезучей двадцатилетней жизни. Его излияния перебили довольно бесцеремонно. Ведущий инженер Вырубакин заявил, что «Пахтакор» все-таки войдет в десятку сильнейших. Ему возразили – горячо и со знанием дела. Нашлись и союзники. Через минуту спорил весь отдел.

Самойлов не знал, что он должен делать, и не имел ни малейшего представления о турнирном положении «Пахтакора». Он отошел к окну и посмотрел вниз. У проходной несколько человек с воплями и улюлюканьем гонялись за опоздавшим. Тот никак не давался им в руки и все время закрывал лицо шляпой.

Оторвавшись от увлекательного зрелища, Александр увидел, что весь отдел коллективно решает легендарный этюд Куббеля. Соблазн был слишком велик, и новичок тоже погрузился в многоходовые лабиринты шахматной мысли.

Потом, когда подтянутый и опрятный Стрижев блестяще решил этот этюд, разговор перекинулся на местные темы: погоду, природу, охоту, рыбалку.

Коллективная беседа шла легко и непринужденно, часто прерываясь бурными вспышками смеха.

Паяльники бурно чадили расплавленной канифолью. Синие, красные, зеленые глазки вольтметров, осциллографов и генераторов весело подмигивали друг другу. Клубы табачного дыма застилали потолок. Начальник отдела Верещагин уныло ходил в дальнем углу помещения. Ему очень хотелось принять участие в задушевном разговоре своих подчиненных. Да и интересных историй он знал немало. Но… не позволяло служебное положение. Наконец Верещагин не выдержал… и пошел поговорить в конструкторский отдел.

Время до обеда прошло быстро и незаметно.

После обеда успевшие остыть паяльники и приборы были включены вновь. Самойлов навел порядок на выделенном ему столе и осмотрелся. Часть инженеров листала технические журналы, часть возилась с настройкой макетов, но без заметного энтузиазма. Самойлов не мог понять, почему в отделе такое затишье.

– Опытных образцов нет, – пояснил Верещагин. И по выражению его лица стало ясно, что очередной срыв работ начался уже давно и закончится неизвестно когда. – Сидим. Баклуши бьем! А потом ночевать здесь будем. Планировали, планировали – и все зря.

Самойлов сел за свой стол и стал просматривать бумаги. «В чем заключается моя функция? – с тоской подумал он. – Ничего толком не объяснили. „Нужно только твое присутствие“. А если я сейчас кулаком трахну? Что тогда будет?»

– Парни, – раздался голос, – у меня что-то с головой. Ничего не соображаю. Усилитель возбуждается. Посмотрите кто-нибудь, – вскакивая со стула и взлохмачивая густую черную шевелюру, просительно проговорил инженер Гутарин.

Это заурядное событие сразу всколыхнуло отдел. Посыпались вопросы и советы. Самойлов тоже подошел поближе и через чье-то плечо попытался посмотреть на экран осциллографа.

На столе лежала плата с кое-как припаянными конденсаторами, сопротивлениями и транзисторами. Рядом валялась схема. Самойлов мельком взглянул на нее. Схема была довольно проста. Прикинув в уме, он подумал, что такой усилитель, пожалуй, не должен возбуждаться.

– Сорвалось! Возбуждение сорвалось! – радостно закричал Гутарин. – И ничего не делал. Само сорвалось.

– Ну а чего же ты панику наводишь. – Все стали нехотя расходиться.

«А-а, – подумал Самойлов. – Возможно, дело в том, что обратная связь была слишком глубокая».

– Опять возбуждается, – поникшим голосом сообщил Гутарин. – Кто здесь колдует? Сознавайтесь!

– Это я, – прошептал Самойлов. – Сейчас я скажу: «Усилитель возбуждается». Ну что? Возбуждается? А теперь колебания сорвутся. Правильно? – Лицо Самойлова слегка осунулось. Он был напуган своими сверхъестественными способностями.

Техники, инженеры и начальники, нервно переговариваясь, окружили стол Самойлова. Верещагин осторожно задал вопрос:

– А еще что-нибудь умеешь делать?

– Не знаю. Не пробовал никогда.

– А что ты чувствуешь при этом?

– Ничего особенного. Небольшое волевое усилие. Я мысленно представляю себе, что усилитель работает нормально.

– А ты можешь сейф поднять? – робко спросила Любочка.

– Нет, не могу, – немного помедлив, ответил Александр. – Я не могу себе этого представить.

– Подумаешь, – заиграл мускулами старший инженер Пали-цин. Подойдя к сейфу, он шутя приподнял его, покрутил в воздухе и снова поставил на место.

– Что ты делаешь! – заорал Сергушин. – Там же спирт!

– А говорил, что спирт кончился, – сердито засопел Гутарин.

Разинув рты все ошеломленно смотрели то на Самойлова, то на Виктора Палицина.

– А второй раз не поднимешь, – спокойно сказал Александр.

– Я таких два подниму, – с достоинством ответил Виктор, но сейф приподнять не смог. Лицо его покраснело от натуги и покрылось каплями пота.

– Брось. Все равно не поднимешь. Это я сделал волевое усилие.

– Но ты же не можешь мысленно приподнять сейф, – удивилась Любочка. – Как же так?

– Не могу, – согласился Самойлов. – Но зато я очень образно представляю, как я не могу поднять его.

– Это что-то сверхъестественное. Мистика. Должно же быть какое-то объяснение? – сказал Сергушин.

Самойлов недоуменно пожал плечами.

– Сделай еще что-нибудь! – просили его.

– У меня триггер не запускается, – радостно заявил инженер Кулебякин. – Может быть, попробуем? А?

Самойлов осмотрел монтаж, некоторое время молча изучал принципиальную схему. Отметил про себя, что не мешало бы изменить параметры дифференцирующей цепочки и номиналы запоминающих емкостей, и произнес вслух:

– Готово.

Кулебякин щелкнул тумблером. Триггер работал нормально.

– Вот это здорово!

– И теперь он всегда, этот триггер, будет работать нормально? – осторожно спросил Кулебякин.

– Ничего я не знаю! Честное слово, ничего не знаю!

До конца рабочего дня весь отдел гурьбой ходил от стола к столу за Самойловым и с восторгом отмечал, как начинают генерировать генераторы, запускаются триггеры, устойчиво работают усилители. У всех было возбужденное состояние. Перед самым уходом с работы начальник отвел Александра в сторону и три раза повторил, чтобы тот берег себя и не переходил улицу в неположенном месте.

Самойлов обещал вести себя осторожно.

Перед самым общежитием его остановила толпа ребятишек и потребовала, чтобы он показал фокусы. «Откуда они могли узнать?» – удивился Александр, но отказать не смог. Он слабо разбирался в этом древнем искусстве и сначала показал фокусы, вызывавшие у несовершеннолетних зрителей лишь слабую презрительную улыбку. Но потом фантазия его разыгралась, и ребятишки хохотали от души. Наиболее экспансивные сорванцы бегали вокруг него и кричали:

– Цирк приехал! Цирк приехал!

Из окон стоявшего напротив общежития дома выглядывали удивленные жильцы. Запустив напоследок разноцветного воздушного змея и тем самым усыпив бдительность ребятишек, Самойлов поспешно ретировался.

В комнате общежития он встретил Кулебякина и Гутарина, собиравшихся в столовую, и решил составить им компанию. Но тут в дверь настойчиво постучали. Александр открыл. На лестничной клетке стояла делегация жильцов соседнего дома.

– Кхы, кхы, – откашлялся председатель домового комитета. – Мы, собственно, по делу. Вы, Александр Тихонович, не могли бы нам столбики поставить?

– Какие столбики? – удивился Александр.

– Да белье во дворе негде вешать.

– И столики со скамейками, – вставил председатель спортивной комиссии домового комитета. – Блиц в домино проводим, а играть негде.

– Гм… Пошли… – ответил Самойлов и про себя чертыхнулся: «Уже все узнали. Здорово здесь поставлена служба информации».

Вкапывание столбов проходило при огромном стечении народа. Самойлов взмок. То ямы получались мелкими, то столбы слишком толстыми. Наибольшее количество советов давали возбужденные происходящим женщины. Мужчины вначале подходили, опасливо оглядываясь: как бы и их не заставили копать ямы. Потом, осмелев, начали помогать женщинам.

Самойлов уже окрашивал усилием воли последний столб, когда сквозь заслон уставших зрителей прорвался Гутарин, схватил Александра за рукав и потащил в столовую.

– У тебя для чего такие способности? Столбы им вкапывать?

– А веревки кто будет натягивать? – неслось им вслед.

– От работы увиливает! Ишь ты, феномен!

– На черта ты связался с ними? Для этого, что ли, у тебя волевое усилие? Сейчас интереснее придумаем.

– Подожди, – остановил его Самойлов. – Как ты сказал?

Гутарин удивленно остановился.

– Для чего у меня волевое усилие? – закричал Самойлов.

И только сейчас он понял все.

– Наконец-то, – устало выдохнул Нанни. – Я уже начинал отчаиваться. – Его седые волосы слиплись и серыми сосульками упали на лоб. Глаза глубоко запали. На лице явственно проступали сотни морщинок. Ему нужно было поспать, только никак не удавалось. Мысли его текли ровно и спокойно, но будто стороной.

«Те двое с „Вызова“ послали одно-единственное сообщение. Его принял автомат – прокалыватель пространства. За один рабочий цикл автомат обходит около полутора тысяч звезд, неся аварийную патрульную службу и записывая электромагнитные сигналы, если в них есть информация. На планете около одной из этих полутора тысяч звезд сейчас дожидаются спасения или смерти два пилота. Автомат не записал шифра ни звезды, ни планеты. Значит, на них не были еще установлены радиобуи. Автомат принес только сообщение… Но откуда? Если бы вместо него был человек! Автоматы не программируются на исчезающе малые по вероятности процессы и события. Кто мог знать?»

– Нанни, почему Сантису ничего не сказали? Ни цели, ни методов? – спросил Эрд, почувствовав, что старик не спит.

– Все должно быть очень естественным. Ненаигранным. А он плохой артист. Ему нужно было войти туда без всякого всплеска. А потом он создаст целый водоворот… бурю. Но это уже ни для кого не покажется странным. Странное явление удивило – и все. Его последствия кажутся логичными.

«Сейчас десяток перехватчиков шарит по окрестностям тысяч планет. Но это поиск вслепую. На всякий случай. А вдруг повезет. Никто не верит в благоприятный исход этих поисков, потому что второго сообщения с „Вызова“ не будет. Нет энергии, чтобы запустить громадину аварийного передатчика. А портативный передатчик на „Вызове“ не установили, потому что какое-то маленькое СКБ не успело их сделать. Не выполнило план. И все же поиск ведется.

Может быть, для очистки совести? Чьей? Тех, кто жил сто лет назад? Их уже нет. Своей? Но мы ни в чем не виноваты. Просто это один шанс из тысячи. И Сантис должен повысить эту вероятность ровно в тысячу раз».

Напряженная тишина взорвалась шквалом вопросов, когда утром Самойлов переступил порог отдела. Он не слышал отдельных фраз, не понимал, что ему говорят. Начальника отдела вытеснили на периферию, и он никак не мог пробиться к Александру.

Толпа напирала и требовала. Неуверенно улыбаясь, Самойлов подошел к стене и волевым усилием вбил в нее гвоздь по самую шляпку. Шум на мгновение стих, а потом еще более усилился. Пришлось вбить второй гвоздь. А через десять минут на стене красовался контур цветка, какие обычно рисуют в детских садах, выбитый гвоздями. Потрясенные зрители несколько успокоились. Теперь Верещагин довольно легко смог пробиться в центр толпы.

– Самойлов, ты не устал? – озабоченно спросил он.

– Чуть-чуть, совсем немного, – ответил Александр.

– Дело есть. Поговорить надо. – Очевидно, начальник отдела тоже немало передумал за ночь. – План работ сорван ко всем чертям.

– А что нужно сделать?

– Двадцать пять образцов нужно настроить в этом месяце. Вот ты и помоги их выдать из макетной мастерской.

– А по плану? – сдавленным голосом спросил Самойлов.

– По плану пятьдесят, – всхлипнул Верещагин и, вытирая уголки глаз платочком, добавил: – Хоть бы двадцать пять. А?

– Нет, – твердо сказал Самойлов.

– То есть как нет?

– Пятьдесят.

– Двадцать пять.

– Пятьдесят – и точка. Это мое последнее слово, – заключил Самойлов.

– Ну хорошо, – устало согласился Верещагин. – Так уж. Из дружеских чувств. Согласен на все пятьдесят.

Руководство отдела электроники искало начальника макетной мастерской Пендрина Иммануила Гаврииловича. Искало на токарном, слесарном, фрезерном и прочих участках, в отделах, секторах, группах и в приемной. Пендрин был неуловим. Самойлов уже слышал о странном начальнике макетной мастерской и теперь окончательно убедился: рассказы о том, что Иммануил Гавриилович может становиться невидимым, имеют под собой реальную почву. Запыхавшись от бесплодных поисков, руководство отдела электроники и Самойлов вернулись на слесарный участок. Веселые слесари делали скребки для копки картофеля и тем самым выполняли план по валу. Немногочисленные детали будущих портативных радиопередатчиков сиротливо лежали в ячейках металлического стеллажа.

– Придется самим, – с досадой сказал начальник отдела, обращаясь к Самойлову. – Ну, начинай, Саня. Сейчас на помощь ведущий конструктор придет.

– С богом! – поддакнули начальники двух лабораторий. – Начинай!

– Я сейчас, – ответил Самойлов и полез разбираться в чертежи.

Через несколько минут пришел конструктор Сомов. Он схватил чертежи и забормотал: «Ерунда все это. Здесь не так, а здесь вот так».

Механический карандаш летал над чертежами. Самойлов старательно следил за действиями ведущего конструктора, стараясь вникнуть в их смысл.

Через два часа на верстаке уже стояли два опытных образца, изготовленных усилием воли. Они, конечно, были не люкс, горбатые, с ободранной краской и к тому же имели мало общего с чертежами. Самойлов с удивлением смотрел на печальные результаты своего труда.

Начальники тоже приуныли. Слесари делали ехидные замечания. И только ведущий конструктор, ласково поглаживая бока приборов, умиленно охал:

– Ах! Это чудо природы! Как это тебе удалось все втиснуть в такие габариты? И нигде не заедает. По какому классу точности делал? Сделаем новые чертежи по этим образцам.

– Вы находите, что образцы на уровне? – спросил Верещагин, удивленно вытаращив глаза.

– Чудо! Чудо! Только поверхности отрихтовать надо. И вот здесь немного переделать.

Из душного пыльного воздуха неожиданно материализовался начальник макетной мастерской Пендрин Иммануил Гавриилович. Кивнув присутствующим головой и громогласно заявив: «Я же говорил! Макетная никогда не подведет!» – он снова растворился в воздухе, не оставив никакого материального следа.

Самойлов и Сомов корректировали чертежи. Остальные присутствующие, окружив работников отдела плотным кольцом, загораживали свет, без передышки курили и давали чрезвычайно стоящие советы. К обеду два образца в металле были отработаны до предела.

– На уровне мировых стандартов! – заявил ведущий конструктор Сомов и пошел к проходной.

– Здорово это у тебя получилось! Ничего не скажешь. Только уж очень медленно, – грустно сказал Верещагин.

– Понятно, это же в первый раз.

– Завтра надо сделать половину образцов. Отдадим в монтаж и начнем настраивать. Впрочем, монтаж тоже сделаешь ты.

Сразу же после обеда в макетную мастерскую началось паломничество сотрудников других отделов. Все хотели увидеть Самойлова. А увидев, все, как один, просили забить гвоздь в стену с помощью волевого усилия. Самойлову никого не хотелось обижать, и он исколотил гвоздями целую стену.

Через двадцать минут паломничество прекратилось. Кончилось время, отведенное для нелегального послеобеденного перерыва.

Отдел электроники получил экстренный приказ – подготовиться к настройке опытных образцов.

Производительность труда после обеда была гораздо выше. Изредка появлялся начальник макетной мастерской, чтобы тут же растаять в воздухе. Работники макетной побросали свою работу и, выбрав удобные позиции, с некоторым удивлением и умеренным негодованием взирали на работу Самойлова. Причина негодования заключалась в том, что их якобы никто не учил таким совершенным и производительным приемам труда.

А Самойлов творил. Взглянув на чертеж детали, он мысленно представлял себе, как она должна выглядеть, учитывал соосность отверстий, параллельность плоскостей, чистоту обработки и класс точности. Там, где знаний явно не хватало, он действовал по интуиции.

Отчетливо представив себе деталь, Самойлов делал волевое усилие, небольшое или значительное в зависимости от сложности детали, и деталь появлялась на столе. Александр не сидел на месте и не делал глубокомысленный вид. Он бегал около верстака, заглядывал в чертежи, что-то лепил и строгал из воздуха, на секунду задумывался, бормотал, разочарованно качал головой и весело смеялся. Словом, вел себя крайне удивительно и непонятно. К вечеру еще пять собранных образцов красовались на верстаке.

Руководство отдела электроники осторожно перетаскивало опытные образцы в помещение отдела. Самойлов пытался им помочь, но его вежливо оттерли. Эту наиболее ответственную часть работы начальники не могли доверить никому.

К концу второй смены Самойлов закончил монтаж. Семь образцов были готовы к настройке.

На улице заметно похолодало. Александр поднял воротник пальто и засунул руки в карманы. Голова понемногу светлела. «Интересно узнать, – думал он, – кто виноват в том, что план трещит по швам? Верещагин ведь говорил, что спланировано все было хорошо. Потом заело в одном месте – конструкторам не выдали вовремя схемы из лаборатории; во втором – в лаборатории не смогли вовремя составить схемы, потому что макетная задержала макеты. Макетная опоздала потому, что конструкторы долго корректировали чертежи. Конструкторы… и все сначала. А тут еще снабжение. Транзисторы, кнопки, скрепки. Все наворачивается друг на друга. Ком растет… А для чего система сетевого планирования? Для чего научная организация труда?»

Почти все окна в общежитии и в доме напротив были темными. Никто не кричал: «Цирк приехал! Цирк приехал!» Никто не просил показать фокус и вкопать столбы. Тишина.

В комнате все спали, кроме Гутарина. На столике горела ночная лампа. Гутарин спросил:

– Есть хочешь?

– Немного, – ответил Александр, и тут в его животе что-то неожиданно заурчало.

– Ну если немного, то пошли.

– Куда это еще?

– К Аграфене Ивановне, хозяйке общежития. У меня и бутылочка есть. Жалко ей тебя почему-то… Приглашала… Пошли, что ли?

Комната Аграфены Ивановны находилась здесь же, в конце коридора.

– Заходите, голубчики, заходите. Вот сюда, на кухню. В комнате-то у меня старик. Намахается метлой за день. Придет и спит, – захлопотала старушка. – У меня все горячее. Садитесь.

«Странно, – подумал Александр. – С чего это она? Может быть, ей что-нибудь надо сделать?»

– А жалко мне тебя просто, – сказала Аграфена Ивановна, словно отгадав его мысли. – Жалко. Надсадишься ты. Хоть ты и жилистый, а все не семижильный. Слышала все. Видела, как ты вчера столбы вкапывал. И на работе. С первого дня и уже работаешь до утра. Много есть любителей сесть на шею и ножки свесить. Всех повезешь?

– Так надо, Аграфена Ивановна, – сказал Самойлов. – Надо.

– Тогда делай. Делай, – сказала она со старушечьей иронией. – Дети есть?

– Нет.

Хозяйка общежития оказалась расторопной старухой. Она живо расставила тарелки, нарезала хлеб, поставила подогреть чайник, мимоходом толкнула в угол таз с известью, закрыла форточку, поправила платок и еще сделала десяток необходимых приготовлений, успевая при этом говорить.

«Эх! – подумал Самойлов. – Что бы ей сделать приятное? Может быть, стены побелить? Это же очень просто».

Уплетая жареную утку, помидоры и запивая все это сухим вином, Самойлов мысленно белил стены и даже умудрялся разговаривать с Аграфеной Ивановной и Гутариным. Гутарин в основном выражал свои мысли кивками головы.

Аграфена Ивановна вышла из кухни и ахнула. Стены комнаты были разрисованы отличными натюрмортами из дичи, овощей и вина. Ни один натюрморт не повторял другой. Каждый был шедевром в стиле Рембрандта. Увидев, что он наделал, Самойлов хотел все убрать, но Аграфена Ивановна остановила его. Красиво. А закрасить никогда не поздно.

Когда тарелки были пусты, старушка без лишних слов вытолкала обоих за дверь, приговаривая:

– Ноги вымойте или под душ сходите. Спать легче будет.

Александр уснул мгновенно.

Утром прибавилось хлопот с настройкой. Руководство отдела электроники спешило. Не сегодня завтра необычным спуртом на финише отчетного квартала заинтересуется начальник СКБ. Не сегодня завтра необычайный феномен заинтересует ученых.

Впрочем, Верещагин в первую очередь не щадил себя. Отвечать за что-то всегда труднее, чем делать.

В отделе все бросили курить. Временно. Никого не интересовало турнирное положение «Пахтакора». Временно. Все, все, все было забыто. Все, кроме настройки.

Штурм! Битва! Эпопея!!!

«Это вам не щи лаптем хлебать!» – думал подтянутый и опрятный Стрижев. А ведущий инженер Вырубакин вообще ничего не думал. Он работал. Техник Свидерский поминутно трогал кончиком языка, не перегрелся ли паяльник. Инженер Гутарин самостоятельно устранял возбуждение усилителей. Пылали щеки и паяльники. Мигали внезапные озарения и сигнальные фонари приборов. Глухо гудели силовые трансформаторы и надсадно сопели носоглотки.

Спали по очереди на двух свободных столах. Ели урывками. Штурм! Штурм! Штурм!!! Сквозь густую завесу усталости и нервотрепки работники отдела замечали друг у друга в глазах искры отчетливо выраженной радости. Штурм это действие! Штурм – это движение! Штурм – это рукопашная с планом по валу и номенклатуре. Штурм – всегда победа! Иначе не стоит и штурмовать. Все календарные графики и тематические планы сдаются перед всесокрушающей силой штурма… в конце года. Но не в конце третьего квартала. Это уж неестественно.

Представьте, что часть армии начала штурм укреплений противника, когда основные силы еще не готовы к бою. Не подошли обозы с осадной артиллерией, не хватает пороха и снарядов, не сделаны остроумные подкопы под министерство, не отосланы все необходимые письма в главк с рассказами о нерадивых субподрядчиках, контрагентах и прочих объективных причинах…

Противник разобьет горстку смельчаков и перейдет в наступление по всему фронту.

Штурмовать надо вовремя. Никому ведь не приходит в голову начинать штурм плана в самом начале года.

Нанни и Эрд, по очереди сменяя друг друга, выполняли мысленные распоряжения Сантиса, транспортируя в прошлое все, что он требовал. Это была адски трудная работа. И их никто не мог заменить, потому что найти еще хотя бы одного человека, мыслящего в унисон с Нанни и Эрдом, было очень трудно. Во всяком случае, на это ушло бы очень много времени.

Когда Сантис там, в специальном конструкторском бюро, свалился с ног и заснул на полчаса, Эрд спросил:

– Нанни, почему у них так получалось?

Нанни искренне рассмеялся:

– Ты думаешь, на этот вопрос можно дать короткий и исчерпывающий ответ? Наверняка у них проводились различные собрания, заседания, совещания. Они тоже пытались выяснить: почему? Я не верю, чтобы кто-то сознательно мог срывать им план. Это получалось само собой.

Нельзя ведь составить план действий так, чтобы предусмотреть все на все сто процентов. Это был бы уже не план. Поэтому и резервируются всякие обходные пути, время, люди, деньги, материалы. Но резерв должен быть минимальным. Если он будет чрезмерно раздут, то это будет тоже не план. И сейчас планировать трудно. А они в то время почти не пользовались математическими машинами. Во всяком случае, в таких мелких организациях. Очень трудно учесть, например, болезни ведущих специалистов, умственные способности, взаимоотношения каждого со всеми и всех с каждым, погоду, наконец. И вдруг оказывается, что руководитель не пользуется никаким авторитетом, не может помочь в нужный момент подчиненным, у начальника лаборатории нет организаторского таланта, ведущий инженер – специалист в совершенно другой области, хотя и очень умный человек. Вступают в силу симпатии и антипатии. Кто-то оказывается не на своем месте. Главный инженер по вечерам пишет музыку и

приходит на работу невыспавшимся и усталым. Да и вообще она его не очень-то интересует. А без музыки ему не жизнь. Происходили тысячи и миллионы маленьких трагедий, потому что человек занимался не тем, чем хотел. Хотя об этом в большинстве случаев не подозревали даже близкие, а то и он сам.

Взамен есть, конечно, схемы, приближения, находки, озарения, удачи. В общей массе, как в объеме газа, все идет близко к среднему нормальному уровню. Но бывают и всегда будут отклонения. Вверх и вниз. Нам сейчас попало то, что отклонилось вниз. Будь это системой, было бы ужасно. Нас с вами не было бы, дорогие товарищи.

По отделам, лабораториям и конторе ползли упорные слухи: отдел электроники намерен выполнить план трех кварталов в срок. Это было предательство. Нож в спину.

Начальник СКБ срочно вызвал к себе в кабинет Верещагина.

Руки начальника с быстротой пианиста мелькали над многочисленными бумагами, папками и приказами. Бледное, с резкими чертами и высоким лбом лицо упрямо склонилось над столом, будто бросая вызов стихийным силам. Лохматые широкие брови сурово сошлись на переносице.

– Ну!.. Что скажешь? – произнес начальник СКБ.

Верещагин смущенно пожал плечами:

– Спать зверски хочется.

– Спать! Хм… Рассказывай, что у тебя в отделе творится?

– Работаем… Спать хочется… Всем спать хочется.

– Ну вот что. – В голосе Волкова проскользнули высокие, металлические нотки, как бы склепывающие речь. – Шутки шутить будем позже. Десять дней назад ты говорил, что дай бог выполнить полугодовой план. Так?!

– Говорил, – еле ворочая языком, ответил Верещагин и, прикрывшись ладонью, зевнул.

– Ходят слухи, что отдел пытается выполнить план трех кварталов. Правильные слухи?

– Правильные.

– Ишь куда замахнулся. Что же получается?

– Спать хочу. – Верещагин снова широко зевнул и стал медленно клониться грудью на стол. Начальник СКБ медленно закипал. Верещагин очнулся и чуть слышно проговорил: – Выполним… Только все спать хотят. Особенно утром… Потом проходит… Кофе черный пьем.

– А кто дал приказ выполнять план? – взорвался бас начальника СКБ. – Кто? Кто, я вас спрашиваю?!

Сон мгновенно слетел с Верещагина.

– Согласно оперативно-календарному графику и тематическому плану, Петр Владимирович.

– Согласно плану, – язвительно передразнил Волков. – Умные вы ребята, но ни черта не понимаете! С меринами легче работать.

Начальник СКБ схватился руками за голову и тупо уставился затравленным орлиным взглядом в стол.

– Письмо в министерство готово, а они решили ни с того ни с сего план выполнить, – разговаривал он сам с собой и вдруг, встрепенувшись, вперился взглядом в Верещагина.

– Ты же знаешь, что у нас нет площадей, станков не хватает, кадров мало, комплектующие задерживаются. Нам сейчас легче объяснить перед министерством невыполнение плана, чем выполнение. Что я буду говорить в главке? Условия одинаковые, а один отдел из четырех, несмотря на это, выполняет план. Ты хоть понимаешь, что натворил?! Без ножа зарезал. – Начальник СКБ снова замолчал, уставившись в стол. Верещагин мужественно боролся со сном, с трудом переваривая речь своего шефа. – Да, кстати… что, этот Самойлов действительно?..

«Вот оно, – подумал Верещагин. – Началось. Теперь прощай, Самойлов. Отберут. Все равно отберут». И, понурив голову, сказал:

– Действительно, Петр Владимирович.

– С него все началось? – строго спросил Волков.

– С него. – Верещагин чуть не плакал.

– Срочно… ко мне в кабинет… Самойлова… из отдела электроники, – отдал приказание начальник СКБ миниатюрной секретарше.

Минут через десять привели Самойлова. Он был чрезвычайно бледен и худ. Давно не чесанные волосы торчали в разные стороны. Костюм был помят и залит каплями канифоли.

В кабинет постепенно набивались большие и маленькие начальники. Главный инженер – человек среднего роста с непроницаемо твердым лицом, с резкими, всегда точными движениями. Начальник патентного бюро, начальник технического отдела, инспектор по кадрам, начальник отдела снабжения, начальники отделов, лабораторий и ответственные руководители тем.

Самойлов снова забивал гвозди. Просьбы сыпались со всех сторон. Забей в стену, в потолок, в пол, в подоконник, в дверь, в косяк. Самойлов забивал. Забивал параллельные, перпендикулярные и зигзагообразные. Забивал по одному и целыми пачками. Забивал виртуозно, красиво, талантливо. Чувствовалось, что это не ремесленник. Это был артист. Великолепный артист! В кабинете начальника СКБ стоял сдержанный гул восторга и удивления. Все стояли. Лишь один Верещагин, уткнувшись щекой в стол, сладко спал. Спал мирно, уютно, не вздрагивая и не всхлипывая. Ему снилось что-то приятное.

– Молодец, Самойлов, – ласково приговаривал начальник отдела снабжения. – Молодец! Хоть и дурак, а молодец! В цирк иди. Греметь будешь! Или ко мне на комплектацию… или по черным металлам. На сто тридцать… А?.. Молодец!

– А как насчет патентоспособности? – спрашивал главный инженер. – Патентная чистота явления проверена? Запатентовать надо обязательно.

– Ох и хитрец ты… Знал, а молчал, – неслось в адрес Самойлова.

– Ну! Поговорили – и хватит! – раздался зычный голос начальника СКБ. – Рассаживайтесь.

Это было самое короткое заседание расширенного техсовета за всю историю СКБ. Оно длилось всего четыре часа. Повестка дня была сформулирована в несколько общих и туманных выражениях: «О возможности предоставления старшему инженеру отдела электроники тов. Самойлову А. Т. права выполнить план работ СКБ за три квартала текущего года в сжатые сроки».

Начальник СКБ, взявший слово первым, очень сожалел, что сложилась вот такая неприятная ситуация. Уже написано письмо в министерство об уменьшении объема работ. Все шло хорошо, спокойно. И вдруг… на тебе! Один отдел выполнил план. Почти выполнил. Все полетело к черту! Хочешь не хочешь, надо выполнять план или всему СКБ, или… сами понимаете…

– Но, – закончил свою речь Волков, – меня все-таки радует одно обстоятельство. Я, как начальник, ошибаться не могу. Иначе наше СКБ второй категории с кадрами из лучших инженеров города никогда не выберется из бездны отстающих организаций. Я всегда интуитивно придерживался волевых методов руководства. Я пр-р-реклоняюсь перед величием и могуществом человека! И вот то, к чему я всегда стремился в своей деятельности, нашло блестящее подтверждение в отделе электроники. Выполнение плана с помощью волевого усилия! Я всегда «за».

Председатель месткома весьма кстати напомнил об уплате членских взносов. Редактор потребовал фотовспышку для стенной газеты… Самойлов и Верещагин спали. Момент был подходящий, и не воспользоваться им было бы просто глупо.

К концу третьего часа, когда положительное решение по повестке дня было принято подавляющим большинством голосов при одном воздержавшемся (им оказался похрапываю-

щий Верещагин), на Самойлова вылили стакан воды и предложили приступить к работе. Лица у всех присутствующих были добрые, ласковые и чуть-чуть настороженные. Мокрый Самойлов не отказывался, но чистосердечно признался, что не знает, как и с чего начать. Как и с чего начать, не знал и никто из присутствующих.

Гениальное мероприятие готово было умереть в зародыше. Расширенный техсовет заволновался. И тут чья-то светлая голова предложила вызвать изобретателя Кобылина, известного всем автора ста десяти заявок на изобретения и одного авторского свидетельства.

Кобылин сразу взял быка за рога.

– Сколько дней тебе потребуется, Самойлов, чтобы выполнить план СКБ за три квартала?

Самойлов тяжело вздохнул и ответил, что не менее месяца. Надо ведь вникнуть во все чертежи. Представить себе все детали, узлы, схемы, химические реакции. А это для него дело новое. Особенно химические реакции.

Изобретатель Кобылин минут пять пристально смотрел на Самойлова и изрек:

– Так дело не пойдет!

Все согласно закивали головами: «Не-ет. Так дело не пойдет».

Кобылин погрузился в сложнейшие размышления. В кабинете начальника СКБ стало заметно теплее. Это умственная энергия изобретателя превращалась в тепловую энергию, грозя, если так пойдет и дальше, тепловой смертью всей вселенной. Энтропия есть энтропия! И когда сидеть от жары стало уже почти невозможно, Кобылин обвел присутствующих ясным взглядом, и все поняли, что проблема решена.

Идея, как и все гениальные идеи, была гениально проста.

– Надо мыслить широко, – начал изобретатель Кобылин. – А Самойлов мыслит узко, кустарно, однобоко. Чтобы сделать какой-нибудь завалящий прибор, он сначала вникает. Вника-ет! На это уходит время. На сборку прибора волевым усилием тоже нужно время! А на монтаж! А на настройку! Это же уйма времени! Нетехнологично, непроизводительно. Пусть представит себе не то, как сделать прибор самому, а то, что нужно было бы сделать, чтобы прибор был изготовлен вовремя, по плану. Не было комплектующих? Значит, товарищ Волков своевременно не объявил выговор Балуеву, начальнику отдела комплектации. Волевым усилием, мысленно объяви ему выговор. Не хватало людей? Отдел кадров… Схема не настраивается? Разработчик…

– Правильно он сказал, – кивая в сторону изобретателя, проговорил Самойлов. – Можно попробовать.

– Хи-хи-хи! Балуев выговор получит, – заливался начальник патентного бюро. – Хи-хи-хи!

– Я-то что. Вот Иммануил Гавриилович наверняка получит, – парировал начальник отдела снабжения, показывая на внезапно материализовавшегося из пустоты начальника макетной мастерской.

– Макетная не подведет! – заверил Пендрин, не слышавший предыдущего разговора, и снова ушел в подпространство.

– А что, действительно выговор может быть? – испуганно спросил начальник конструкторского бюро.

– Вину чувствуешь, хи-хи-хи, – заливался начальник патентного бюро. – Вину!

– Может быть, кто против? Воздержался? – спросил Волков. – Или боится кто-нибудь? Виноват?

Присутствующие молчали. Верещагин посвистывал носом и протяжно храпел.

– Тогда с богом! – угрюмо закончил начальник СКБ заседание техсовета.

АлекСАНдр ТИхонович Самойлов – Сантис – закрыл на ключ массивную деревянную дверь испытательной лаборатории. Открыл люк звуконепроницаемой герметичной камеры, сбросил туда толстую кипу тематических планов, оперативно-календарных графиков, квар-

тальных отчетов, докладных, заявок, приказов, спрыгнул сам и завинтил люк изнутри на все гайки. Для концентрирования волевого усилия была необходима идеальная тишина. В камере было тепло и сухо. Сантис разложил на столе принесенные с собой документы, закурил, с минуту посидел, ни о чем не думая, затушил папиросу и начал сосредоточивать свою мысль на первой по списку теме. До конца третьего квартала оставалось восемь часов…

Кабинет начальника СКБ был полон. Незначительные разговоры, нервные смешки, шарканье ног, попытки рассказать смешной анекдот. Томительное ожидание. Работы в СКБ были приостановлены. В их продолжении уже не было смысла.

Лишь отдел электроники продолжал действовать. Собственно, остались только два ненастроенных образца. Около Гутарина и Палицина собрались все, кто не спал. Настройка должна была вот-вот закончиться. Ведущий инженер Вырубакин с достоинством заявил, что «Пахтакор» войдет в десятку сильнейших. Ему никто не возразил, и Вырубакин немедленно обиделся. Техник Свидерский рассказывал печальную историю из своей жизни, и все вокруг хохотали до слез. Любочка отпечатала последний протокол и запорхала между столов. Оживление усиливалось.

– Готово! – заорал Палицин. – Можно пломбу ставить.

– У меня тоже! Все, парни! – радостно заявил Гутарин и с хрустом потянулся. – Ну, вы когда меня жените-то?

– Скоро, Гена, скоро, – успокоил его всегда подтянутый и опрятный Стрижев.

– А не выпить ли нам по поводу окончания работ по стаканчику? – протирая заспанные глаза, сказал Сергушин.

– По стаканчику? – внезапно проснулся второй начальник лаборатории. – А не мало ли? А?

– Хватит! Закругляйтесь!

– А Верещагина с Самойловым все нет и нет, – жалобно сказала Любочка и капризно надула губы.

– Стружку, наверное, снимают с них, – ответил тяжеловес Палицин.

– Ну да! Стружку! Премию делят! Точно вам говорю, – немедленно возразил техник Свидерский.

– А может быть, опять где-нибудь?

– Сейчас – в магазин, а потом в общежитие, – скомандовал Сергушин. – Самойлов с Верещагиным наверняка туда придут.

Через минуту свет в отделе погас.

В кабинете начальника СКБ царила зловещая тишина. Прошло уже часа три, как Самойлов заперся в лаборатории испытаний. Что происходило в камере, никто не знал. И это было плохо. С одной стороны, хорошо, если план будет выполнен. Премия! А с другой – вдруг выговор или еще что. Так что, пожалуй, было больше плохо, чем хорошо.

Внезапно в кабинет влетела испуганная чертежница Пронюшкина.

– Сдобников пропал! – завопила она.

– Как пропал? – испуганно спросило сразу несколько человек.

– Пропал… Они с Захаровым вышли на минутку, а когда возвращались, Сдобников пропал… Исчез – и все!

– Не может быть такого!

– Может, может! Пропал Сдобников!

– Что он, сквозь землю про… – начал было ответственный исполнитель по теме номер один и вдруг исчез. Исчез без шума, без треска, без теплого прощального слова.

В кабинете начальника СКБ забеспокоились. Испуганные голоса спрашивали друг друга: «Где он? Где он?» Атмосфера накалялась и становилась угрожающей. Случай был из ряда вон выходящий. До сих пор мгновенно мог исчезать только Иммануил Гавриилович Пендрин.

Главный инженер вдруг вскочил с места, бегом спустился по лестнице, вылетел через проходную, выхватил у ошалевшего от неожиданности дворника метлу, сразу же успокоился и с упоением начал подметать тротуар. Размеренно, с толком, не поднимая лишней пыли. Чувствовался солидный опыт. Дворник сказал: «Э-хе-хе. Всегда бы так. Позаседали бы да помели» – и пошел в проходную посмотреть, не сварилась ли картошка. Он очень любил картошку. Особенно если она была с маслом, помидорами и перцовкой.

Начальник СКБ до боли в суставах сжимал столешницу своего рабочего стола. Только что, прямо на его глазах, исчез еще один ответственный исполнитель. Это было ужасно. Начальник отдела снабжения плакал навзрыд. Ему не было страшно. Он плакал из любви к искусству. Как выяснилось позднее, в это время он уже был руководителем драматического кружка и учил кружковцев искусству сценического перевоплощения.

– Это он! – раздался истошный вопль. – Это Самойлов! Надо остановить его!

Все вскочили. Длинный стол для заседаний перевернулся. Верещагин чуть не упал со стула и проснулся. Удивленно посмотрел вокруг. На правой его щеке рдел огромный красный с разводами пролежень.

– Остановить! – кричали вокруг. – Он нас всех к чертовой бабушке пошлет.

Человек тридцать-сорок толпой кинулись к дверям, выдавливая друг друга в коридор, и галопом спустились вниз, к дверям лаборатории испытаний.

– Ломай! На приступ! – раздался боевой клич.

Неумолимый рок ежесекундно вырывал из рядов атакующих опытных, закаленных в сражениях бойцов. Они, как и предыдущие, исчезали бесследно. Кто-то принес лом, и дверь пала. Взять с ходу камеру было труднее. Атакующие загрустили. Их осталось совсем мало: инспектор по кадрам, бухгалтер, начальник патентного бюро, Верещагин и еще несколько человек. Некоторое время все не дыша смотрели друг на друга. Никто не исчезал.

– Неужели все? – робко спросил кто-то.

– Кончилось. Не успели.

– Он давно там сидит? – спросил Верещагин, сообразив, в чем дело.

– Часа четыре.

– Он же задохнулся. Курил, наверное, все время, – метался Верещагин, корчась от боли и хватаясь рукой за правую щеку. – Спасать надо. Резать автогеном!

Несколько человек бросились искать автогенщика. Кто-то звонил в «скорую помощь».

– В тюрьму его надо за такие штучки, – сказал начальник патентного бюро.

– Сами же ведь просили.

– Кто мог знать? А вдруг и план остался невыполненным? Тогда что? Кто будет отвечать?

– А… Кому теперь отвечать…

Из пустоты, как всегда внезапно, материализовалась голова начальника макетной мастерской Пендрина и лихо подмигнула:

– Ну как тут у вас? Кончилась заварушка?

– Пендрин! Голубчик! Живой! А ты не знаешь, где наши? – лопотал начальник патентного бюро.

– Не знаю, но догадываюсь.

– Где же?

– Да живы они, живы. Видел, как через подпространство неслись. Волков в главк, а остальные кто куда.

– Сам-то ты как?

– Знал я, что что-нибудь здесь будет, вот и отсиживался в подпространстве. Ну, привет! Я еще немного посижу, на всякий случай. – И Иммануил Гавриилович исчез…

Не успели еще остыть рваные края оплавленной дыры на том месте, где раньше был люк, как Верещагин спрыгнул в камеру.

Самойлов лежал возле канцелярского стола, нелепо раскинув руки, в расстегнутой мокрой рубашке и уже не дышал. Во всяком случае, Верещагин не услышал его дыхания, как ни старался. Стол был завален подписанными и утвержденными квартальными отчетами, папками готовых технических отчетов, протоколами испытаний. На полу стояли макетные и опытные образцы по всем темам.

План третьего квартала был выполнен. Поверх всех бумаг лежал приказ министерства о выплате работникам ЦКБ квартальной премии…

Врачи определили у Самойлова невероятное истощение нервной системы. Очнулся он лишь через неделю. В палате было светло и тихо. Откуда-то издалека доносилась медленная незнакомая музыка. Самойлов вздохнул и глубоко заснул.

Здоровье его быстро шло на поправку. Посетителей к нему еще не пускали, а в записках запрещалось писать о производственных делах.

Наконец настал день, когда к Самойлову впустили посетителей. Первой вошла Аграфена Ивановна, хозяйка общежития. За ней Верещагин, два начальника лабораторий, ведущий инженер Вырубакин, техник Свидерский, Стрижев, Палицин, Гутарин и Любочка. Палата сразу наполнилась гулом и оживлением.

– Сашенька ты наш. Заморили тебя окаянные, – запричитала старуха.

– А я тоже лежал неделю в больнице, – с восторгом сообщил Верещагин. – Понимаешь, пролежень на щеке никак не заживал. Даже уколы делали.

– А у нас Гутарин-то ведь женится!

– А я… хм… первое место по штанге… хм… занял по городу…

Сантису было хорошо. Он с восторгом переводил взгляд с одного лица на другое и молчал.

– А ты гвоздь можешь вбить в стенку? Тут к тебе делегация ученых целую неделю прорывается, – сказала Любочка.

– Нет, не могу. Пробовал, ничего не получается, – ответил Сантис и весело добавил: – Секрет утерян! Ребята, а почему меня всегда просили забить гвоздь? Ведь я мог сделать что-нибудь и поинтереснее.

– Уж очень наглядно получалось, – ответил техник Свидерский, и все с ним согласились.

– И хорошо, что утерян, – подхватила Аграфена Ивановна. – Научишься молоточком. – Ей все время хотелось всплакнуть, но она не решалась.

– Ну а как в СКБ дела? – спросил Сантис.

– Все нормально, – ответил Верещагин. – Волкова перевели в Министерство сельского хозяйства. Он же по образованию-то был, оказывается, ветеринар. А главный инженер дворником работает. Не простым, конечно, а бригадиром. У нас на территории сейчас такая чистота!.. Ну и еще некоторых кое-куда порастаскали. Всего, кажется, человек около сорока. Всем место нашлось по душе. У нас много новых. А Пендрин отсиделся. Так и числится начальником макетной мастерской. Боится только все время чего-то.

Начальники двух лабораторий после каждой фразы Верещагина согласно кивали головами и в один голос говорили: «Правильно… Тоже верно… Правильно…»

– А тебя, понимаешь, в ведущие инженеры не переводят. Просил я, да, говорят, испытательный срок у тебя еще не кончился.

Время свидания подошло к концу. Прощание было не менее шумным, чем встреча.

Самойлов всем кивал головой, поднять руку он был еще не в силах.

Через несколько часов после возвращения Сантиса с «Вызова» послали второе сообщение. Потом третье. Автомат – прокалыватель пространства принял их. Спасательная экспедиция тронулась в путь.

1970

Зачем жил человек?

1

Владимир Чесноков заглядывал то в одну, то в другую дверь, не зная, к кому обратиться, и не решаясь задать вопрос. Сотрудники молодежной газеты «Утренние зори» деловито сновали мимо него по коридору. К обеду его фигура уже примелькалась, и ответственный секретарь бросил на ходу:

– Хлесткий заголовок для статьи о пионерлагерях! А?

– У меня стихотворение, – ответил Чесноков.

– Чтоб нестандартно и в самую суть. А? – остановился секретарь.

– Стихотворение… вот… – Чесноков бережно вытащил из внутреннего кармана пиджака лист бумаги и начал разворачивать его.

– А, – досадно сморщился секретарь. – Стихи, стихи! Прозы сейчас пишут мало. – И он неопределенно махнул рукой куда-то в конец коридора.

Чесноков потоптался еще немного и уже собрался плюнуть на все и уйти, но в это время в коридоре снова появился секретарь.

– Ну что у вас с вашим стихотворением? Что Пионов сказал?

– Ничего.

– Он всегда так. Не унывайте.

– Я его даже и не видел еще.

– Правильно. Он сейчас в командировке. Вся поэзия в командировках. Большое стихотворение?

Чесноков не успел ответить. Ответственный секретарь взял его под руку, подвел к дверям с надписью «Редактор» и, втолкнув в комнату, крикнул:

– Тимофей Федорович, это мой знакомый! Борис!

Чесноков оказался посреди комнаты. Смущение его достигло предела. Тимофей Федорович, сорокалетний мужчина, уже страдающий одышкой и давным-давно забывший, чем интересуется юность, сидел за столом и писал заявление о переводе его на другую работу. Он уже давно чувствовал, что перестал понимать молодых сотрудников своей газеты, ходивших с модными бородками и в ярких свитерах даже в жару. Да и его – он это знал – не всегда понимали. В сорок лет руководить молодежной газетой…

– Ну что там у вас, Борис? – спросил он.

– Стихотворение… Владимир я.

– Отлично. Покажите.

Чесноков протянул ему дрожащей рукой лист бумаги. Редактор на несколько секунд углубился в чтение, а потом спросил:

– Что вы этим хотели сказать?

– ?

– Ну, в чем идея, мысль стихотворения?

– Шел молодой человек, – начал Чесноков, стараясь говорить бодро и непринужденно, – по улице… увидел девушку. И ему стало очень хорошо.

– А что было потом?

– Не знаю… Просто ему стало хорошо.

– Они так и не поженились?

– Нет. Он ее больше не встречал никогда.

– Откуда вы знаете?

– Я видел это собственными глазами.

– Хорошо. Просто прекрасно… И что же вы хотите? Опубликовать в нашей газете?

– Я просто пришел. Кому-то все равно надо показать.

– А вы что, намерены этим заняться всерьез? Посвятить всю свою жизнь? Или просто так?

– Я бы хотел серьезно, – отважно ответил Чесноков.

– Молодец! – Редактор даже вышел из-за стола и похлопал начинающего поэта по плечу. – Если бы вы написали это просто так, мы бы напечатали недельки через две-три. А если вы серьезно, то придется еще поработать. Серьезно всегда труднее, чем просто так.

Через двадцать минут Чесноков вышел из редакции радостный и улыбающийся. Стихотворение, конечно, не приняли, но сколько он услышал полезного, сколько интересных тем подсказал ему редактор! А в будущем если его стихи окажутся свежими и оригинальными, то даже напечатают. Честное слово, напечатают!

Чесноков прибежал к себе в квартирку на пятом этаже, с шумом распахнул дверь, поцеловал Анечку, свою жену, бросился на диван, крикнул:

– Работать и еще раз работать! – и начал подробно рассказывать.

Анечка присела на край дивана, широко раскрыла свои голубые глаза и, охая и ахая в особенно страшных местах повествования, прижимала кулачки к груди. Так внимательно и не перебивая выслушала она Володеньку.

А когда он закончил свой рассказ, сказала:

– Володька! А ведь ты в душе и так поэт. Я это знаю.

Владимир смутился и начал было возражать, но Аня перебила его:

– Неужели ты станешь настоящим, общепризнанным поэтом?

Чесноков вздохнул и сурово произнес:

– Все зависит только от нас.

Анечка утвердительно кивнула головой.

2

Чесноков работал старшим инженером на радиозаводе. Анечка готовила торты на кондитерской фабрике. Оба любили литературу, разбирались в поэзии и значительную часть денег тратили на приобретение книг, чем вызывали недоумение, а иногда и смех у соседа по лестничной площадке Вениамина Кондратюка, весь бюджет которого был подчинен одной цели – приобретению мотороллера – мотоцикла – мотоцикла с коляской – «запорожца» – «москвича» и т. д.

Чесноков на три месяца был освобожден от мытья полов в квартире. Писать так писать!

Они приходили с работы почти одновременно, разогревали вчерашний борщ или суп с лапшой, наскоро перекусывали. Владимир выкладывал на стол лист чистой бумаги, шариковую авторучку и начинал расхаживать из угла в угол. Анечка занималась домашними делами, которые никогда не переделаешь, сколько ни старайся.

Начало каждого такого вечера пропадало для Чеснокова зря. Он ничего не мог написать. В голову лезла всякая ерунда, которая отлично рифмовалась, но в ней не было ни крупицы чувства. Плоское, ремесленное, как по заказу для ширпотреба.

– Вовка, перестань мучиться, – говорила обычно Анечка, вытирая мокрые руки передником и бросая свою работу. Она брала его за шею своими маленькими крепкими руками и заглядывала ему в глаза. И ее глаза были крохотным, но интересным, ласковым миром. Маленькой вселенной.

– Ну, отпусти меня, – говорила она.

– Подожди, – отвечал он. – Я еще не все прочитал.

– Что там можно прочесть?

– Все. Там все мои стихи.

Она прижималась к его груди и слушала, как бьется сердце, восторженное и одержимое.

Потом они садились на диван или прямо на пол, и она о чем-нибудь его спрашивала, а он отвечал. Или он спрашивал, а она отвечала. Они вспоминали: «А помнишь…», мечтали: «Вот будет здорово…», спорили: «Володька, ты не прав»; решали тысячи проблем и создавали тысячи новых. В голове у Чеснокова рождались музыка и стихи. Стихи у него всегда были связаны с музыкой. Анечка замолкала, чувствуя, что с ним происходит что-то странное. Может быть, это состояние странности она и любила в нем больше всего. Он и сейчас был таким же, как в день их знакомства. И она хотела, чтобы он был таким всегда – близким, родным и странным.

– Прочти, – просила она шепотом.

Он начинал говорить. И она переносилась в странный, необычный и в то же время удивительно знакомый мир.

В нем были друзья, знакомые, старый сибирский город, ветер морей, россыпи звезд, молоденькие деревца и крики ребятишек за окном. Все было так, как она привыкла видеть каждый день, и только какой-то сдвиг его настроения делал все свежим, удивительно неожиданным. Мир раскрывался под каким-то новым углом зрения. Может быть, это было вдохновение? Или талант? В его мире плакали и смеялись, радовались и печалились, любили и ненавидели. Но все в нем было честным, странным и необыкновенным. И если в его стихи иногда врывался крик боли и отчаяния при виде уродства человеческих отношений, то он звучал диссонансом. Очень странным диссонансом, без которого вся музыка поэзии превращалась в изящную пошлость.

Перо и бумага ненужными валялись на столе.

– Кажется, начинается сплошная ерунда, – говорил он, и они шли гулять в Университетскую рощу или Лагерный сад, если погода была хорошая, или, раскрыв дверь на балкон, слушали шум дождя. И молчали.

Сколько можно сказать друг другу таким молчанием!

Иногда он сам записывал свои стихи, иногда это делала Аня.

Случалось, что у него «заклинивало» и стихи не писались. Тогда они шли к кому-нибудь в гости или приглашали к себе.

3

Сосед по площадке купил мотороллер, Чесноков помогал грузить его на машину, втаскивать в гараж, и вместе с женой был приглашен на «обмыв» покупки.

Собралось человек восемь, все заядлые мотоциклисты и автомобилисты. Разговор, естественно, вертелся вокруг автомобильной темы. Кондратюка поздравляли, пили за колеса, за руль, за запчасти. Советы сыпались со всех сторон. Вениамин Кондратюк сиял. Его жена незаметно сновала из комнаты в кухню, таская тарелки и стаканы.

Вначале Чесноков чувствовал себя неуютно, но потом постепенно освоился. Кондратюк то и дело бегал в гараж посмотреть, не сперли ли мотороллер. Мотороллер никто не спер. Кондратюк показывал всем ключ зажигания и старательно окунал его в стакан с водкой.

– А почему бы и вам не купить мотороллер? – спросил он Чеснокова.

– Действительно, почему? – зашумели вокруг. – Красота! В лес, на базар за картошкой. Быстро.

– Мы как-то не думали об этом, – сказал Чесноков.

– Да у нас и денег-то нет, – сказала Анечка.

– Ага! Денег у них нет! На книги, на барахло – есть. А на мотороллер нет!

– Книги не барахло, – сказал Чесноков.

– Ну зачем вам столько книг?

– А зачем тебе мотороллер?

– Да хотя бы в лес съездить. В автобусе не надо толкаться. Захотел – съездил. В любой момент.

– Так же и книги. Захотел – взял с полки и прочитал.

– Ну прочитал раз, и хватит. Да и в библиотеке можно взять.

– Можно ездить на такси. К чему мотороллер?

Кондратюк даже опешил:

– На мотороллере я буду ездить! Он окупается! А у вас эта макулатура стоит без пользы! Зачем?

– Это не макулатура. Это люди, друзья. Верные – и на всю жизнь.

– Врете вы! Интеллектуалами хотите казаться! Чтобы зашли к вам в квартиру и первым делом увидели полки с книгами. Вот, дескать, умные люди живут. Сервант с посудой в угол, значит, а книги на видное место… Знайте все, что мы выше соседа! Он купил мотороллер, а книг не покупает! Писаки гонорары задарма получают! Землю бы всех копать заставить!

– Это ты переборщил, – начали успокаивать Кондратюка.

– Подумаешь! – орал хозяин. – Я тоже книжный шкаф заведу!

– Кур заводят, – сказал Чесноков.

– Вот мотоцикл куплю, а потом книг полный шкаф наставлю, чтобы все знали, что я тоже не дурак.

– Ну нет! – заорал Чесноков и даже ударил кулаком по столу. – Я тебе не дам книги покупать. Не позволю! Там люди, мысли. И чтобы они в твой шкаф-гроб? Да они там зачахнут, с ума сойдут, умрут. Не позволю!

– Пойдем домой, Володя, – сказала Анечка.

Анечка тянула Чеснокова за рукав. Кондратюка держали за пиджак, он все время порывался броситься врукопашную.

Чесноков проснулся на другой день с пакостным привкусом во рту. Голова хоть, слава богу, не болела. Анечка только сказала:

– Как ты мог затеять с ним этот разговор?

– Разве я начал? – оправдывался Чесноков.

На площадке он встретился с Кондратюком. Было как-то неловко за вчерашнее, и он спросил:

– Э-э, Вениамин, как у тебя мотороллер?

– Спасибо, ничего, – ответил Кондратюк. Он тоже не совсем уверенно чувствовал себя после вчерашнего разговора. – А ты, Владимир, дал бы мне что-нибудь почитать. А? Чтоб за душу взяло!

– Такого у меня нет, да и вряд ли где найдется, – ответил Чесноков, но Кондратюк не понял иронии.

– Ну что-нибудь там современное. Что в этом году на соискание Государственной премии выдвинуто?

Они прикурили от одной спички и вместе вышли из подъезда. Работали они на одном заводе, в одном отделе.

С неделю Чесноков просил Анечку даже не упоминать о стихах и литературе вообще.

Потом отошел.

4

Через три месяца было готово около тридцати стихотворений. Чесноков отдал их перепечатать машинистке, работавшей на дому. При этом он страшно волновался, назвался чужим именем. Конфузился. И когда наконец все было отпечатано, облегченно вздохнул. Однажды в пятницу, после работы, он надел белоснежную рубашку, черный костюм, нацепил синтетический галстук, поцеловал Анечку и направился в редакцию.

Особенно не размышляя, он пошел прямо к редактору. Но редактор был не в духе. Его никак не освобождали от работы в молодежной газете. Про единственный визит Чеснокова он, конечно, забыл и теперь взвинченно и недружелюбно попросил его выйти вон. Чесноков, ничего толком не понимая, ведь его же просили прийти через три месяца! – выскочил в коридор и, собравшись с мыслями, решил все бросить и идти домой. Редактору, который, в общем-то, был хорошим и добрым человеком, стало стыдно оттого, что он ни с того ни с сего наорал на незнакомого человека. И через несколько секунд он тоже был в коридоре. Чесноков еще не ушел. Редактор облегченно вздохнул:

– Молодой человек, что, собственно, у вас?

Чесноков вкратце напомнил о своем первом визите и, смущаясь, достал пачку листов. Редактор повел его в отдел поэзии к Пионову. Там они мирно побеседовали. Чесноков оставил свои стихи. Пионов мельком взглянул на них и сказал:

– А тут что-то есть… – и записал телефон и адрес Чеснокова, обещая позвонить на будущей неделе.

Прошло четыре дня, и Пионов действительно позвонил. Он просил Чеснокова немедленно прийти в редакцию. Дело очень важное и срочное.

Чесноков отпросился с работы и кинулся в редакцию. Если они решили отказать, то незачем было бы и вызывать его, думал он. Наверное, напечатают.

Из проходной завода он выскочил радостный и чуть ли не пел во весь голос, но, подходя к редакции, сник и начал волноваться.

Пионов встретил его довольно дружелюбно, усадил в кресло, предложил сигарету и несколько минут молча рассматривал Чеснокова, делая вид, что роется в бумагах на столе.

Молчал и Чесноков.

– Я прочел ваши стихи, – сказал наконец Пионов. – И нисколько не преувеличу, если скажу, что написаны они здорово.

У Чеснокова почему-то упало сердце.

– Я сам поэт, – продолжал Пионов. – Скоро в Западно-Сибирском издательстве выйдет мой сборничек. Я знаю, что говорю. Написано у вас талантливо. Когда вы их написали?

– С июня по август, – внутренне холодея, ответил Чесноков. Что-то в голосе Пионова говорило ему, что со стихами дело дрянь. Не напечатают. Ни при каких условиях не напечатают. – Три месяца. Недели две как закончил.

– А как бы вы назвали весь цикл, если бы это понадобилось?

В небольшой комнате клубами висел дым. Кто-то пытался знаками вызвать Пионова в коридор, но тот только крикнул: «Закройте дверь! Я занят, не видите, что ли?»

– Я назвал бы его «Удивление».

– Странно, – прошептал Пионов. – Очень странно.

– А что случилось? – спросил Чесноков.

– Вы никому не показывали свои стихи? – не отвечая на вопрос, в свою очередь, спросил Пионов. – Друзьям? Знакомым?

– Нет. Мне и в голову не приходило.

– Странно. А слышать или видеть их раньше у кого-нибудь… Впрочем, расскажу все. Меня, как я уже говорил, взволновали ваши стихи. Я сделал подборку. У нас есть такая рубрика – «Молодые голоса». Тимофей Федорович тоже одобрил. И тут к нам зашел Серегин. Знаете такого поэта? Нашего сибирского?

– Знаю, – кивнул головой Чесноков. – Читал.

– Он у нас бывает часто. Читает все, что мы готовим в набор. Правит иногда. Он прочитал ваши стихи и сказал… что это его стихи… Вот так.

– Как его? – одними губами спросил Чесноков.

– Он будет здесь с минуты на минуту. Я пригласил его. Понимаете, редакция должна разобраться. Мы не имеем права попадать в глупое положение.

– Это мои стихи, – прошептал Чесноков.

– И поэт-то он так себе, бездарность, – словно не слыша Чеснокова, сказал Пионов. – А вот, поди ж ты, выпустил уже четыре книжки. Все серость невероятная. А тут сразу такой фейерверк… Он уже отослал рукопись в издательство. И там ее приняли. И название то же – «Удивление». Понимаете, какая петрушка получается?

Пионов встал из-за стола и принялся расхаживать по комнате, постукивая кулаком в раскрытую ладонь и что-то рассеянно напевая.

– Насколько я понимаю, – сказал вдруг осевшим голосом Чесноков, – меня обвиняют в воровстве…

– Что вы, что вы! – заволновался Пионов. – Я никого не обвиняю. Редакция просто должна разобраться. И, кроме того… Серегин уже признанный поэт. У него летом, по его словам, был приступ вдохновения.

– Это мои стихи, – твердо сказал Чесноков.

Дверь отворилась, и в комнату уверенно, как в собственную квартиру, вошел человек средних лет с портфелем.

– Привет, Гриша, – привычно приветствовал он Пионова. – Сергей Серегин, – протянул он руку Чеснокову. Тот неуклюже поднялся, держась одной рукой за спинку стула.

– Чесноков.

– Вот как! Лю-бо-пыт-но!

На протяжении последующих пятнадцати минут Чесноков молчал. Говорил Серегин. Он бросил на стол кипу листов, исписанных чернилами и отпечатанных на машинке, и начал подробно рассказывать о том, как на него после полугодового перерыва снизошло вдохновение, как им овладела радость поэтических открытий, уверенность, что он оставит важную веху в поэзии.

– Вот, все тут. Адский труд, бессонные ночи, тонны бумаги. На каждом листе дата. Можно проследить, как рождались эти стихи. К счастью, я не уничтожаю черновиков. Вот доказательства, что это все мое. В издательстве почти приняли. Скоро договор… И в Союз писателей не сегодня завтра примут. А у вас, у вас есть черновики с датами?

– Черновики у Анечки, – сказал Чесноков.

– У Анечкина? – насторожился Серегин. – Не знаю такого.

– У Анечки! – заорал Чесноков. – У моей жены! В голове! Понимаете!

– Так-так-так. Понимаю, – радостно проговорил Серегин. – Значит, черновиков нет? И что же вас заставило…

– Во всяком случае не веха…

– Какая веха?

– Важная веха в поэзии. Вы же сами это сказали. Я писал, потому что не мог не писать.

В комнату вошел редактор и скромненько устроился в углу на трехногом стуле.

– Что же делать? – с нескрываемым отчаянием в голосе спросил Пионов.

– Во всяком случае, в газете ничего не помещать, – подсказал Серегин.

– Это и так ясно, – буркнул Пионов. – Дальше что?

– Плагиат! Я этого так не оставлю. Я судиться буду!

– А вы будете отстаивать свои права? – спросил Пионов у Чеснокова.

– Судиться, что ли? – ответил Чесноков. – Вряд ли. Ведь у меня нет черновиков.

«Эх, бедняга, – подумал редактор. – Не в черновиках дело. В человеке».

– Я вам заявляю со всей ответственностью! – неизвестно к кому обращаясь, кричал Серегин.

Чесноков неуклюже встал, пробормотал: «До свиданья!» – и пошел к выходу.

– Вы уходите?! – крикнул ему Пионов. – Приносите еще что-нибудь. Можно и по одному стихотворению.

– Я застолбил этот участок поэзии и никому не позволю! – все еще кричал Серегин.

«О-хо-хо, – подумал главный редактор. – Не в поэзии, а под солнышком, чтоб теплее и сытнее, ты хочешь застолбить участок. И не попрешь тебя. По судам затаскаешь!»

– Вы заходите, Владимир, – еще раз крикнул Пионов.

Чесноков осторожно прикрыл дверь и, сгорбившись, вышел на улицу.

5

Моросил дождь. Сентябрь. Пакостно на душе.

Чесноков побродил по Университетской роще, стараясь ни о чем не думать. Небо вскоре прояснилось. В сентябре дожди еще не идут неделями.

Когда он открыл дверь квартиры, Анечка была уже дома. И как он ни старался казаться спокойным, она сразу же заметила, что произошло что-то нехорошее. Она умоляюще взглянула на него, но он только покачал головой, и тогда она не стала его ни о чем спрашивать. Он сам подошел к ней, погладил волосы, приподнял ее голову за подбородок, грустно улыбнулся и все рассказал. Она ни разу не перебила его, только глаза ее то расширялись, то сужались.

– Но ведь ты же не думаешь, что он каким-то образом присвоил твои стихи? – спросила она, когда он закончил. И голос ее был чуть-чуть испуганным.

– Конечно нет, Анечка, – ответил он. – Это просто нелепое совпадение. Грустно.

И тогда она заплакала, а он не просил ее успокоиться – знал, что этого нельзя делать.

В дверь позвонили. Это оказался сосед Кондратюк.

– Мне бы рублишко разменять, – сказал он.

– Проходи, – предложил Чесноков.

Кондратюк прошел в комнату, увидел заплаканное лицо Ани и спросил:

– Что у вас тут происходит? Похороны, что ли?

Чесноков не умел лгать и в двух словах рассказал соседу о случившемся.

– О, да ты, оказывается, в поэты метишь!

– Никуда я не мечу, – ответил Чесноков.

– Не скромничай, не скромничай. При, если есть возможность. Там платят здорово. Вот поэтому туда все и лезут.

– Не все.

– Все, все. А вакансий мало. Вот и тащат друг у друга, кто стих, а кто и роман. И у тебя сперли. Судись, мой тебе совет. Может, что и возьмешь. А лучше купи мотороллер. Колеса, они, знаешь, всегда себя оправдают. Я уже рублей на двести малины, смородины и прочей дребедени навозил.

– Продаешь, что ли?

– Не-ет! Возни много. Увидят свои сотрудники со стаканом на базаре – засмеют. Я люблю, чтобы все было спокойно, тихо. Жена на зиму варит. С братом мы: он – сахар, а я – ягоду. Колеса – это вещь. Бери зимой в кредит. За лето оправдаешь. Дело надежное.

– Вениамин, у тебя, кажется, мотороллер спереть кто-то хочет. Слышишь, заводят?

Кондратюк прислушался, вытянул шею, опрометью бросился к двери, забыв разменять рубль.

– Володя, ты есть хочешь? – спросила Аня.

– Как зверь, – ответил Чесноков. – Сто лет не ел. – И он засмеялся.

Аня подозрительно посмотрела на него и тоже засмеялась:

– Тогда садись.

Она загремела тарелками. В дверь снова позвонили. Это опять оказался Кондратюк.

– Целый, – сказал он, ухмыляясь, – у меня не сопрут. У меня запоры знаешь какие?! – Он вдруг недоуменно пожал плечами и спросил: – У вас что, свадьба уже или именины? Чего смеетесь?

– Есть хочу, Вениамин, – сказал Чесноков. – Ты знаешь, так есть хочу, терпенья нет.

– А-а-а! – недоверчиво протянул Кондратюк. – Тогда понятно. Ну а как с рублишком-то?

Кондратюк ушел довольный. Рубль разменял. Мотороллер цел. Что еще надо?

– Володя, – сказала Аня, когда они ложились спать, – я ведь знаю, ты еще много напишешь.

– Много, очень много, – ответил тот.

И все же после этого случая Чесноков как-то сник. Все-таки было очень неприятно. Дело даже не в том, что скоро выйдет его сборник под чужой фамилией, и, уж конечно, не в том, что кто-то другой получит за него гонорар. Просто Серегин не мог написать такие стихи. Чесноков это чувствовал. Одно дело писать стихи, чтобы глаза любимой женщины превращались в *радостное удивление*, другое – чтобы застолбить и оставить веху.

Совпадение? Конечно. Не украл же их Серегин. Но почему именно он? Чеснокову было бы легче, если бы это был кто-нибудь другой. Пусть Пионов или сам редактор газеты. Правда, редактор стихов не писал.

Чесноков принялся за домашние работы. Нужно было отремонтировать квартиру. Он работал с остервенением, с грохотом обдирал полуобвалившуюся штукатурку с потолка, вырывал с «мясом» гвозди из рассохшегося пола, выпивал за вечер три литра кваса и орал во все горло арии из популярных оперетт.

– Вовка, – говорила Аня, – учти, что ты на самом деле не такой. Ну что ты напускаешь на себя?!

– Я такой, я сякой, – речитативом тянул Чесноков. – Я всякий.

– Неправда. У тебя сейчас в душе злость. На кого? Зачем?

Чесноков, не отвечая, с одного удара вогнал гвоздь в доску по самую шляпку.

Однажды он, отчаянно фальшивя, запел: «Здоров ли, князь? Что призадумался?»

Аня в слезах вбежала в комнату и закричала:

– Струсил! Расписался! Никакое это не совпадение. Ты думаешь, что он у тебя украл стихи! Поэтому и бесишься!

– Нет. Я этого не думаю. А вообще, конечно, и противно на душе, и обидно. Скоро перегорит и забудется. Хочешь новые стихи? Прямо из печки! Хочешь?

– Хочу, – сказала Аня и вытерла глаза грязными ладонями.

Всего восемь строк, грубо вырубленных из твердого камня.

Аня поняла, что Вовка отошел, выжил.

А через две недели он встретил эти стихи в «Литературной газете». Подписал стихи какой-то неизвестный Чеснокову поэт.

Чесноков даже не удивился, не стал разыгрывать из себя обиженного и тяжело переживающего удары судьбы человека. Он просто перестал записывать свои стихи, не старался их запомнить, а просто длинными зимними вечерами импровизировал перед единственной своей слушательницей – Анечкой. Он был неважным чтецом. Со сцены его, быть может, никто и не

стал бы слушать. А зря… Нужно было только поверить ему, понять, что мир, рождающийся в его стихах, реален, несмотря на всю свою фантастичность.

Анечка верила ему и понимала его.

Если бы Кондратюк присутствовал на этих вечерних чтениях, он наверняка удивился бы и сказал:

– Вот прет из тебя, Чесноков! Прямо стихами прет! Только записывай и переводи в валюту. Мотороллер ку…

Но Кондратюк никогда не слышал стихов Чеснокова – ведь это не окупалось, а значит, и не имело смысла. Да и в его присутствии стихи Чеснокова рассыпались бы ворохом беззащитных слов, робких, неуклюжих, смешных.

Анечка тайком записывала те строки, которые успевала запомнить, а память у нее была отличная. Пачка пухла из месяца в месяц. Чесноков знал, что жена пытается «сохранить для потомков» его творения, но ему не приходило в голову запретить ей это. Никогда он не просил у нее прочитать их. Зачем читать черновики? Он мог встретить все свои стихи в газетах, журналах, сборниках. Правда, всегда под чужими и разными фамилиями… Ну и что же?

Несколько раз Чеснокову на работу звонил Пионов. И просил принести что-нибудь новенькое. Но Чесноков отказывался под разными предлогами. В первый раз он сказал, что бросил писать, но Пионов ему не поверил:

– Это теперь от тебя не зависит – писать или бросить. Они сами будут рождаться в твоей голове. И ты тут уж ничего не поделаешь.

В следующий раз Чесноков ответил, что нет ничего значительного. Потом что у него нет времени. И это была правда, потому что группа, где работал Владимир, как раз заканчивала тему. И в последний раз Чесноков сказал только одну фразу:

– Повторяется все та же история, – и повесил трубку.

Пионов позвонил еще раз и попросил разрешения прийти к Чеснокову в гости. У Чеснокова не было причин отказывать, и он назначил время, но совершенно неожиданно уехал в командировку.

А Пионов все-таки пришел. Анечка была дома. Пионов представился, а узнав, что Чесноков уехал, даже обрадовался.

С полчаса они говорили о поэзии, выяснили, что им нравятся одни и те же поэты. Как бы невзначай Пионов спросил, продолжает ли Чесноков писать стихи. Анечка молча показала ему пачку листов и рассказала, что она записывает это тайком от Владимира.

– Все это было уже в газетах и журналах, – сказала Анечка. – Просто ужас какой-то!

– Ну-ка, ну-ка, – сказал Пионов. – Вы разрешите мне это посмотреть?

Анечка разрешила. Пионов наскоро перелистал страницы, заполненные строчками с четким почерком.

– Я это уже читал, – сказал он наконец.

– Ну вот видите, – грустно сказала Анечка. – Вся трагедия в том, что он не может не писать, даже если захочет этого. Будет молчать днем – ночью во сне выговорится.

– Да, да, да! А вы могли бы дать мне эти стихи на несколько дней?

– Пожалуйста, возьмите. Только я бы не хотела, чтобы узнал Володя.

– И напрасно. Надо показать ему это. Я сам покажу, а вы уж не отказывайтесь, что записывали. Может быть, ему так будет лучше.

Аня напоила Пионова чаем с медом, а он поставил ей на газовую плиту бак со стиркой. Ей этого уже нельзя было делать самой. Аня ждала ребенка. Перед уходом Пионов заволновался – как же она снимет бак, и не успокоился до тех пор, пока не договорился с соседом, что тот поможет. Это оказался Кондратюк. Он был так рад познакомиться с представителем прессы! Как же, он знает, знает, что и Чесноков причастен к литературе. Нет, нет, не читал, но еще

надеется когда-нибудь прочитать. Вот если бы было лето, он отвез бы товарища представителя прессы домой на мотороллере.

Добрая и отзывчивая душа был это Кондратюк.

6

Когда Чесноков вернулся из командировки, Анечка все ему рассказала.

– Ерунда это, – сказал Чесноков. – Записывать тут нечего. Слушай уж ты мои стихи одна. Гордись хотя бы тем, что раньше всех можешь познакомиться с ними.

Но Пионова, видимо, здорово заинтересовала вся эта история. Вскоре он снова пришел к Чесноковым и притащил с собой старящегося редактора молодежной газеты Тимофея Федоровича. Услышав шум, прибежал и Вениамин Кондратюк. Пионову не хотелось высказывать свои соображения, причем совершенно фантастические, при посторонних, но Кондратюк отрекомендовался редактору лучшим другом семьи Чесноковых, к тому же соседом. И Пионову пришлось терпеть.

Разговор долгое время вертелся вокруг да около. Редактор уже был вынужден согласиться, что «Паннония» для дорог Сибири барахло по сравнению с «Уралом». Чесноков вообще ничему не радовался.

Наконец Тимофей Федорович отодвинул чашку и сказал:

– Все! Спасибо! Больше не могу!

Пионов тоже облегченно вздохнул, потянулся за своим объемистым портфелем, раскрыл его и вытащил толстую пачку листов, газетных вырезок и небольших книжечек. Кондратюк поспешно сгреб посуду на край стола, а Анечка унесла ее на кухню. Все расселись вокруг стола, серьезные и сосредоточенные, как на важном совещании.

– Владимир, – начал Пионов. – Может быть, то, что ты сейчас услышишь, для тебя будет немного неприятно.

Чесноков махнул рукой: «Валяйте».

– Тот случай с Сергеем Серегиным все никак не выходил у меня из головы, – продолжил Пионов. – Я тщательно просмотрел то, что он писал раньше и после того. Я тогда говорил, что последний сборник Серегина отличается от всего, что он написал, как небо от земли. Это же действительно явление в поэзии. Никто так не писал раньше. Вспомните Маяковского. Ведь ни до, ни после него никто так не пишет.

– Писали, Григорий, как же! Только не получалось, – вставил редактор.

– Вот именно. Ничего толкового не получалось. А у Маяковского получилось.

– Ну и что? – страшным шепотом спросил Кондратюк.

– А то, что бездари и кустари все похожи друг на друга, а талант не похож ни на кого.

– Талант, – холодея перед какой-то страшной тайной, прошептал Кондратюк.

– Сборник под названием «Удивление», который выпустил Серегин, – это Грин в поэзии. Не успел он выйти в свет, как о нем заговорили. Вы бы отличили рассказы Александра Грина от рассказов других писателей? – спросил Пионов, обращаясь к Кондратюку.

Кондратюк смутился. Некогда ему было читать Грина. То мотороллер, то грибной сезон, то ягодный. Зимой и то передохнуть некогда.

– Ну да ладно, – вздохнул Пионов. – Не в этом дело. Вот три стихотворения из «Юности», одиннадцатый номер за прошлый год. – Пионов нашел журнал в куче бумаг и прихлопнул его ладонью. – Читали?

Чесноков потянулся за папиросами.

– Понимаю, – сказал Пионов. – Неприятно. Я видел эти стихи в черновиках, которые записывает ваша жена Аня. Стиль, образ мышления, способность видеть мир не так, чуть-чуть не так, как все… Удивление, это все то же удивление! Мир потихонечку разучивается

удивляться. Чем можно удивить человека? Полетом на Марс? Африкой? Узенькой полоской зари на восходе солнца? Или, быть может, музыкой, детской улыбкой? Чем?

– Вот это правильно! – восторженно произнес Кондратюк.

– Нет, неправильно. Все это еще удивляет, но как-то вяло, однобоко. Удивляет *обычно*. Представляете себе – обычное удивление? Обычное удивление! Разве удивление может быть обычным? На то оно и удивление, чтобы быть необычным.

Чесноков сидел с таким видом, словно все это его не касалось.

– А в этих стихах все иначе, чем у других.

– Он и на самом деле такой, – сказала Анечка и смутилась. – Какой в жизни, такой и в стихах.

«Господи, – подумал редактор, – что за счастливая женщина».

– А стихи подписываются чужими фамилиями. Я их все собрал. Вот посмотрите. Это твои стихи, Владимир?

– Я знаю, – тихо сказал Чесноков. – Я их все читал.

– Я сначала собрал их все вместе и лишь потом пришел к вам в надежде, что увижу здесь хотя бы черновики. И я не ошибся. Они все здесь.

– Не все, – сказал Чесноков. – Последние я не читал даже Анечке.

– Вот эти?

– Да.

– И вот стихийно возникло общество поэтов, которые написали «ваши» стихи. Они как-то нашли, отыскали друг друга. Их человек десять. А Серегина они избрали своим председателем.

– Я все это знаю, – спокойно и с расстановкой сказал Чесноков. – Ничем вам полезным быть не могу.

– У меня предположение, – сказал Пионов. – Совершенно фантастическое. Может быть, это действительно не вы пишете. – Пионов машинально перешел на «вы». – Может быть, пишут действительно другие? А ваш мозг так точно настроен на определенное настроение, что мгновенно воспринимает их. И никак нельзя доказать, что они возникают у вас первого.

Анечка закусила губу.

– Телепатия! – покрываясь холодным потом, выдавил из себя Кондратюк.

– Да, да. Нет! При чем тут телепатия! Не в этом дело.

– Ну что ж! – сказал Чесноков. – Спасибо вам за хлопоты. Все-таки участие.

– В том-то и дело, – пожалуй, впервые за все это время открыл рот редактор молодежной газеты, – что все это ерунда.

– Нет никакой телепатии, – облегченно вздохнул Кондратюк. – Я слышал.

– Почему для всех этих поэтов, – редактор дотронулся кончиками пальцев до кипы бумаг, – именно эти стихи являются исключением из их творчества?

– Да, да, – поддержал его Пионов. – Напишет одно-два стихотворения или, как Серегин, целый сборник, а ни до, ни после этого ничего похожего больше нет. Зато появляется у другого. И снова как явное исключение. А у тебя ведь это система. Ничего нельзя спутать. Так, может быть, это они каким-то чудом, непосредственно из мозга в мозг воспринимают твои стихи? И эти стихи действительно твои?! Понимаешь, это твои стихи! – Пионов, довольный, откинулся на спинку стула и оглядел всех торжествующим взглядом.

– Но этого никак нельзя доказать, – сказал Тимофей Федорович. – К сожалению.

– А зачем доказывать? – спросил Чесноков.

– Нет, можно, – возразил Пионов. – Трудно, но можно. Теоретически можно, если знать, у кого они возникнут в голове. Какая-то разница во времени должна быть. Предположим, у него, у этого человека, вечером чернила кончились или бумага. Нечем записывать. А утром

дела наваливаются, не передохнешь. Вот тебе и разница во времени. Ты-то успел записать. Причем разница всегда должна быть в твою пользу.

– Что же мне, всегда пузырек с чернилами открытым держать по этому поводу? – усмехнулся Чесноков.

– Это действительно смешно, – сказала Аня.

– Надо общественность на ноги поставить, – посоветовал Кондратюк. – Общественность, она все может.

– Тут хоть на голову ставь всю общественность, – вздохнул Тимофей Федорович.

– В таком случае надо писать в «Технику – молодежи», – снова подсказал Кондратюк. – Там и не такое еще пишут.

– Нет, нет, – сказал редактор. – Тут даже сдвиг во времени не поможет. Что такое день, два? А если попадется такой человек, как Серегин? Кроме всего прочего, у него амбиция, голос хорошо поставлен, а эрудит какой по охране прав автора! Попробовать, конечно, можно. Мы, собственно, решили напечатать несколько ваших стихотворений, а там будь что будет. Все ближе к чему-то определенному.

– Да, да, Владимир, подборка стихов за тобой.

– Уговорили все-таки, – обрадовался Кондратюк. Эта история разжалобила его. У него даже появилось желание помочь соседу. Чего он бьется впустую?.. Но как?

– «Уговорили» тут ни при чем, – отрезал редактор. – Просто это наше решение.

– Я не отказываюсь, – устало сказал Чесноков. Он был явно расстроен. Жена незаметно взяла его руку и погладила – осторожно, чуть-чуть.

– Мы искренне верим, что это ваши стихи. И должны они печататься под вашей фамилией, – твердо сказал Тимофей Федорович.

– Теперь я не уверен в этом.

Гости разошлись поздно. Кондратюк недоумевал. Счастье само лезет в руки человеку, а он отказывается. В то, что Чесноков пишет здорово, Кондратюк поверил. Не зря к нему приходят такие люди! При расставании Пионов поклялся, что напишет статью. Он еще не знает куда, но напишет. А Тимофей Федорович, по обыкновению, ничего не сказал, лишь подумал про Чесноковых: «Ведь трудно людям. Но почему в их квартире ощущение счастья?»

7

Чесноков ничего не дал в газету. А Пионов написал все-таки толковую статью, в которой подробно изложил все факты, касающиеся загадочного явления и судьбы никому не известного писателя. Статья была отправлена в «Литературную Россию». Через несколько месяцев пришел ответ, в котором сообщалось, что газета очень редко печатает научную фантастику и в настоящее время не находит возможным опубликовать рассказ. Пионов страшно расстроился, написал в газету резкое письмо, но ответа не получил. И все же он надеялся когда-нибудь доказать свою правоту и восстановить в правах Чеснокова.

Раза два-три в год он заходил к Чесноковым в гости, но все реже и реже просил Владимира дать что-нибудь в газету. А потом его перевели на работу в Москву, в одну из центральных газет.

У Чесноковых родился сын, потом сын и дочка. Хлопот с малышами было очень много. К этому времени у Чеснокова набралось бы десятка два сборников стихов, если бы их удалось собрать вместе.

Свой первый рассказ Чесноков написал, когда старшему, тогда еще единственному сыну исполнилось три месяца. И с этого времени писал стихи все реже и реже. И все больше его тянуло к прозе. Сначала небольшие грустные, но с тонким юмором рассказы. Потом большие, серьезные. А однажды он рискнул написать повесть. И снова он встречал их в журналах и сбор-

никах под чужими фамилиями. Стихийно возникшее общество поэтов «Удивление» постепенно распалось, потому что все реже и реже стали появляться в печати стихи соответствующего стиля и содержания.

Так кто же все-таки писал эти стихи и рассказы? Пионов так ничего и не смог доказать. Он был уверен, что все это принадлежит Чеснокову, но требовались точные доказательства. А сам Чесноков? Конечно, ему было грустно сознавать, что кто-то мгновенно воспринимает его творения и выдает за свои, нисколько в этом не сомневаясь. Но еще хуже было бы, окажись, что сам Чесноков просто-напросто способен мгновенно воспринимать стихи и рассказы разных авторов, созвучные его настроению. Он много раз думал об этом, особенно после памятного разговора с Пионовым и Тимофеем Федоровичем. Пришел ли он к какому-нибудь выводу? Пришел. Он был твердо уверен, что пишет именно он. Но это еще не давало ему оснований посылать рукописи в издательства и редакции.

Время шло своим чередом. Чесноков уже руководил небольшой лабораторией, а Кондратюк стал начальником крупного отдела. Оба они не привыкли относиться к работе спустя рукава, а это означало, что нередко им приходилось технические проблемы своих разработок решать в нерабочее время.

Кондратюк проникся к Чеснокову каким-то странным уважением. Лезет человек на отвесную стену, выбивается из сил, падает, снова лезет. А зачем? Ведь на вершине горы все равно нет ничего. Нет ни золотых россыпей, ни красивого цветочка, даже панораму гор и долин оттуда не увидишь, потому что сама вершина вечно скрыта в тумане. И все-таки человек продолжает восхождение. И это непонятное упорство невольно вызывает уважение и страх. А если бы это был он, Кондратюк? Хорошо, что это не он!

Вениамин Кондратюк даже взял нечто вроде шефства над Чесноковыми. В летние воскресные дни предлагал свой автомобиль, чтобы выехать на лоно природы, приглашал на дачу.

Иногда Чесноковы принимали приглашения. Кондратюк был искренне рад. Людям приятно – значит и автомобиль, и дача оправдывают себя. Не зря деньги вбиты в это дело.

Но чаще Чесноковы отказывались. Впятером шли они по проселкам и тропинкам пригородных лесов Усть-Манска. Старший сын мог уже тащить рюкзак, а младшие в основном ехали на не очень широких папиных плечах, пока впереди не показывался пустынный берег ручья или речушки. Они уходили недалеко от города, но видели очень многое. Странный талант Чеснокова помогал им видеть все не так, как обычно. И от этого становилось странно на душе, и хотелось летать и плакать оттого, что летать не можешь.

Может быть, Чесноков и бросил бы писать, если бы хоть раз Анечка, слушая его, прикрыла скучный зевок ленивой ладонью. Но этого не случилось. Ей было интересно. И так же, как десять лет назад, с замирающим сердцем слушала она о том, какой странный, удивительный, радостный и грустный, счастливый и горький мир окружает их. Он всегда был разным. А разве можно скучать, когда тебя все время окружает разное и новое? Зевают от скуки, когда все уже давным-давно известно и ничего нового в будущем не предвидится.

Он писал, потому что и ему, и жене Анечке, теперь уже Анне, это было интересно.

Однажды Чесноков неопровержимо доказал, что пишет именно он. Еще раньше Пионов обращал внимание на то, что необычные стихи выпадают из творчества некоторых поэтов, а для Чеснокова они являются системой. Нужно было только доказать, у кого они появляются раньше.

Чесноков начал новую повесть из жизни инженеров. Она была задумана в виде трех рассказов, от лица трех главных действующих лиц. Повесть писалась легко. Чесноков вообще писал легко. Была уже закончена первая и начата вторая часть. Как обычно, просматривая в библиотеке новые поступления, Владимир встретил первую часть повести в одном журнале. Это было настолько привычным, что не удивило ни его, ни Анну.

В тот год была ранняя весна. Днем снег таял, а утром подмораживало. Чесноков шел на работу, поскользнулся, упал и сломал руку. Бывает же такое невезение! Его положили в больницу, но кость руки долго не срасталась. Вдобавок ко всему обнаружилось повреждение позвоночника. Короче говоря, Чесноков проболтался в больнице месяца три. Писать он не мог, но зато читать сколько угодно. Как-то на глаза ему попался журнал с первой частью повести, и он обратил внимание на сообщение редакции о том, что в следующем номере будет напечатана вторая часть. Чесноков разыскал следующий номер. Продолжения в нем не оказалось. И в третьем номере он не нашел ничего. Зато в журнале появилось редакционное сообщение: по независящим от редакции причинам публикация повести откладывается на неопределенное время.

И тогда Чесноков послал автору телеграмму, в которой советовал или расторгнуть договор с издательством, или изменить сроки публикации, потому что он, Чесноков, в настоящее время не может заняться этой повестью.

Автор телеграмму получил, хотел ответить Чеснокову чем-нибудь ядовито-ехидным, но передумал. Мало ли у любого писателя недоброжелателей! Со всеми не будешь вести переписку. А повесть у него действительно застопорилась. Ни слова. В голову лезла всякая ерунда, но только не то, что нужно. Он уже несколько раз ходил на завод, чтобы посмотреть, как работают инженеры. Сам он никогда инженером не был. И все равно ничего не получалось. И редакция уже надоела своими звонками. Ну где он возьмет продолжение, если вдохновение пропало!

А Чесноков неожиданно для самого себя написал автору письмо, в котором просил его сообщить сроки, когда он начал и закончил вторую и третью части. К этому времени Чесноков уже вышел из больницы и за две недели закончил вторую часть.

И на автора повести вдруг нашло вдохновение, да причем такое, что он закончил вторую часть точно за две недели. На радостях он написал Чеснокову пространное письмо о том, когда и как он написал вторую часть повести. Благожелательным читателям надо иногда отвечать.

Теперь Чесноков твердо знал, что пишет все-таки он сам. У него даже возникло желание подшутить над автором повести и совсем не писать третью часть. Но, немного поразмыслив, он решил, что незачем издеваться над человеком – ведь он, в общем, ни в чем не виноват.

Судя по критическим статьям, рецензиям и заметкам, Чесноков был талантливым писателем. От Кондратюка, как от старого друга семьи, у Чесноковых не было тайн. И Кондратюк был чрезвычайно обрадован, когда узнал, что сосед доказал свое первенство. Значит, если рассказы начнут печатать под настоящей фамилией, Чесноков лез в гору не зря, а потому что там материальное благополучие, добытое честным трудом, которое Кондратюк ценил превыше всего.

У Чеснокова не было никаких связей в литературных кругах, да и времени, чтобы обивать пороги, у него не было. Иногда он встречал Тимофея Федоровича. Тот все еще продолжал работать редактором молодежной газеты и по-прежнему убедительно доказывал, что его надо перевести на другую работу. Но эти встречи были случайными и короткими.

И Чесноков продолжал писать, пожалуй, даже с большим желанием, чем раньше. Не ставят его фамилию на обложке романа? Черт с ними! И не поставят никогда? Уже привык к этому. Главное, что его повести и романы нравились. Люди в них находили то, что тщетно искали в произведениях других авторов. И еще – его романы были все так же чуточку чудными, необычными, в них все еще сквозило удивление. Чесноков не переставал удивляться миру и людям.

8

Поведение Чеснокова начало раздражать Кондратюка. Не воруй, не обманывай, живи честно! Все это правильно. Кондратюк никогда в жизни не совершил ни одного нехорошего

поступка. Не крал, не обманывал. Своими руками, своим собственным горбом он заработал и автомобиль, и дачу, и кооперативную квартиру одному из сыновей. Гнул шею, если этого требовали обстоятельства, и в выходные дни, и в отпуск. Но ведь это приносило пользу, окупалось, было необходимым. Если бы кто-нибудь попытался отнять у него выходной костюм или сломать изгородь на даче, разве бы он не впился своими руками в горло обидчика, разве не бил бы его смертным боем?! Мое! Не трожь! Заработай сам!

А Чесноков отдавал все добровольно. И Черное море, и яхты, и поездки за границу, и деньги, и славу. Кому? А кто подвернется. Чеснокову все равно. А ведь все, все принадлежало Чеснокову. По закону, по праву.

Кондратюк чувствовал, как рушится его спокойный, понятный, обычный мир. Оба его сына пропадали целыми вечерами у Чесноковых. И для них не было большего авторитета, чем дядя Володя. Непорядок! И его жена, тихая, незаметная женщина, никогда не решавшаяся высказать свое мнение вслух, вдруг зачастила к соседям, перестала смотреть в пол, подняла голову, хоть и теперь никогда не противоречила мужу. Да и сам Кондратюк был частым гостем у Чесноковых. Там всегда было шумно. Людям почему-то нравилось бывать в этой небольшой стандартной квартирке, сплошь заставленной книгами.

А разговоры… Что это были за разговоры! Каждое слово в отдельности было понятно Кондратюку. Но смысл фраз?! Что это? Зачем? Почему жена его ворочается по ночам и не спит, лежит с открытыми мокрыми глазами и улыбается? Почему старший сын ушел из дому? Почему тошно смотреть на сверкающий лаком автомобиль? Почему вокруг пустота?

А все потому, что Чесноков пишет. Зачем пишет?

– Зачем ты пишешь?

– Интересно.

– Какая польза от этого?

Чесноков взял с полки книгу в нарядном переплете.

– Хочу, чтобы такое читали поменьше.

– Я читал. Книга интересная.

– Ложь тоже бывает интересная.

А время шло. Дети выросли и разъехались. Анна, теперь уже Анна Ивановна, располнела, но смеялась все так же заразительно весело и все так же любила своего Володьку, теперь уже Владимира Петровича, худого, сутулого, поседевшего.

И все так же весело было в их квартирке. Даже когда Чесноков оставался один, а Кондратюк приходил к нему, чтобы покурить и помолчать, даже тогда в квартире было что-то удивительное. Кондратюк как бы видел и Анну Ивановну, и свою жену, детей Чеснокова и своих, знакомых и незнакомых людей. Все они хорошо понимали друг друга, спорили и часто не приходили к единому мнению, но все равно стремились сюда. Как они могли здесь очутиться? Ведь все они были далеко. Они хорошо знали друг друга, и только его, Кондратюка, никто не замечал. И, докурив папироску, он молча уходил, чтобы выпить стакан водки и лечь спать. Кругом было тихо и пусто, как в гробу.

9

Чеснокову уже было за сорок пять, когда он встретил в последний раз Тимофея Федоровича. Тот так и вышел на пенсию редактором молодежной газеты. Много мыслей и фактов накопилось в его памяти за шестьдесят пять лет. И Тимофей Федорович писал книгу – итог своей долгой жизни.

Сначала они поговорили о погоде. Потом Тимофей Федорович посетовал на постоянные боли в пояснице, а Чесноков пожаловался на боли в сердце. Вспомнили Пионова. Он к этому времени был уже главным редактором толстого журнала.

– Все по-прежнему? – спросил Тимофей Федорович.

– Да, – ответил Чесноков. – Но работать становится все труднее и труднее. Напишу еще один роман, если успею, и все.

– Я тоже заканчиваю шедевр. А что за роман у вас? – полюбопытствовал Тимофей Федорович.

– Хочу назвать его «Зачем жил человек?» – ответил Чесноков.

Тимофей Федорович вдруг оступился на ровном месте и тяжело задышал.

– А у вас? – спросил Чесноков.

– Да так, ерунда, в общем-то. Пустяки.

– Ну, Тимофей Федорович, у вас не могут получиться пустяки. Я вас хорошо знаю.

– Да, да. Конечно. – И Тимофей Федорович перевел разговор на другую тему.

Они еще с часок побродили по Университетской роще, поговорили и разошлись.

«Вот и моя очередь пришла, – подумал Тимофей Федорович. – Осталось только уничтожить рукопись». Он тоже писал роман под названием «Зачем жил человек?».

Удивительный талант Чеснокова коснулся и его.

Больше они не встречались.

10

Чесноков умер в конце осени, когда шли затяжные, нудные дожди и на улицах была непролазная слякоть. Он умер сразу, никого не обременив ни своими болезнями, ни своими страданиями.

Чесноков умер.

Кондратюк даже не предполагал, что у Чеснокова столько друзей. Прилетели его дети и дети самого Кондратюка, не появлявшиеся дома годами. Прилетел Пионов, вызванный Тимофеем Федоровичем. Люди шли длинной печальной вереницей в квартиру. Несколько часов длилось это прощание.

– Господи, – повторяла Анечка сквозь слезы. – Он совсем не страшный. Он все такой же. Он все такой же.

На лице Чеснокова застыло вечное удивление. Он словно хотел сказать:

– Смерть… Так вот ты, оказывается, какая… странная.

Кондратюк стоял у изголовья гроба. Его покачивало от усталости и выпитой водки. Глаза слезились, руки мелко вздрагивали. Но ему не было жаль Чеснокова. Сейчас он ненавидел его лютой ненавистью. Это он, Чесноков, сделал бессмысленной всю его жизнь, свел на нет его нечеловеческие усилия. Он, проживший такую бессмысленную жизнь, перетянул на свою сторону столько людей. Плачут! И дети – его, Кондратюка, дети плачут! И тихая незаметная женщина плачет! А когда он, Кондратюк, умрет, будут они плакать? Чуть-чуть, потому что так положено?

– Зачем жил человек?! – закричал Кондратюк. – Какая от него была польза? Какая?!

Сыновья молча взяли его под руки и увели в свою квартиру.

– Зачем жил человек?! – продолжал кричать Кондратюк. – Лжете вы все! Зря! Зря жил!

– Ты!.. – закричала на него жена, тихая, незаметная женщина. Она всегда была тихая, и мать у нее была тихая, и бабка. – Как ты смеешь! Тебе этого никогда не понять!

Неужели это его жена? Откуда она и слова-то такие знает?

– Ненавижу! Ненавижу! – кричала тихая женщина.

И дети не вступились за отца.

Все перевернулось и рассыпалось в голове Кондратюка. Может быть, впервые в жизни он подумал: а зачем живет он сам? Как он живет? Не крал, не обманывал! Брал только то, что положено по закону. Неужели этого мало?! Что нужно еще? Что?!

Когда все возвращались с кладбища, Кондратюк бросился с моста в ледяную воду Маны. Его выловили и откачали. Кондратюк остался жить.

Тимофей Федорович уговорил Пионова задержаться в Усть-Манске на недельку. Они вместе разобрали архив Чеснокова. Страшно волнуясь, Тимофей Федорович начал читать последний роман Чеснокова, роман, который он писал и сам. Он предполагал встретить абсолютное сходство. Но это был совершенно другой роман. Тимофей Федорович напрасно волновался.

Пионов взял с собой рукопись романа с твердым намерением опубликовать его под фамилией Чеснокова. Он было хотел взять и рукопись Тимофея Федоровича. Ну что особенного, если у двух разных романов окажется одинаковое название?

– Нет, Гриша, – сказал Тимофей Федорович. – На вопрос «Зачем жил человек?» можно дать только один ответ. Так пусть уж на него ответит сам Чесноков.

1970

Мама!

Что знаем мы, двадцатилетние, о войне? Мы, ни разу не видавшие разрывов бомб, не слышавшие свиста пуль, никогда не голодавшие, не знавшие, что такое похоронная, безногий отец, в тридцать лет поседевшая мать.

Что знаем мы о войне?

…Близилась экзаменационная сессия. Около Университетской рощи нельзя было пройти, не захлебнувшись запахом цветущей черемухи. Днем уже было жарко. Вечером – прохладно. Проспект Ленина от Дворца Советов до Лагерного сада заполняла шумная, смеющаяся толпа. Время вечерних и ночных гуляний.

Я учился в Усть-Манском политехническом институте на факультете операторов машин времени. Мы гурьбой шли с лекции по теории прогнозирования будущего на лабораторные занятия в десятый корпус.

– А вы знаете, – сказал Валерий Трубников, – эта лабораторная практически зачет по прогнозированию настоящего.

– Ну да! – ахнула идущая рядом со мной Вера и схватила меня за локоть. – Это правда?

– Правда, правда. – Трубников утвердительно закивал в ответ.

– Откуда ты взял? Откуда ты знаешь? – загалдели вокруг.

– Знаю – и все. Сами увидите.

Нельзя сказать, что его заявление нас обрадовало. Все знали педантичную скрупулезность старшего преподавателя Тронова, который вел лабораторные. Его любимой фразой было:

– С временем шутить нельзя.

Он выжимал из нас все. Он заставлял нас думать так, что голова раскалывалась на части. Его не устраивали витиеватые, эмоциональные рассуждения и доказательства. Ему нужна была строгая логика. Только логика.

После яркого солнца легкий полусумрак коридоров был даже приятен. Кабины учебных машин времени располагались в правом крыле здания в аудитории № 307. Все лабораторные я делал вместе с Верой. И в группе уже перестали шутить на эту тему. Привыкли.

Старший преподаватель Тронов вошел в кабину и положил на стол конверт.

– Если кому-нибудь станет плохо, нажмите вот эту кнопку, – сказал он. – Это случается.

– Почему? – спросила Вера.

– Война… Что вы знаете о войне? – Тронов пожал плечами.

– Знаем, и многое, – сказал я. – Брест, Ленинград, Майданек.

– Сталинград, – подхватила Вера. – Хиросима.

– Люди, в первую очередь люди, – тихо сказал Тронов и вышел из кабины.

– Значит, мы будем участвовать в войне? – сказала Вера. – Ой как здорово!

– «Участвовать», – передразнил я ее. – Смотреть со стороны. Кино.

– Ну да. Кино… Это не кино. Это действительно было.

Мы прочитали задание, набрали на пульте машины координаты пространства и времени и включили ее.

Пронзительно завизжали тормозные колодки, и поезд остановился. Из теплушек как горох посыпались люди. Над головами на бреющем полете пронеслись один за другим три самолета. Горели два соседних вагона. Люди скатывались с насыпи и бежали в степь. Женщины и дети.

Эффект присутствия был ошеломляюще полным.

Рядом со мной упала женщина. Она была в сером тяжелом платье, черном платке и кирзовых сапогах. Девчушка лет пяти раза два дернула ее за руку, говоря: «Мама, мама». Потом,

поняв, что мама уже не поднимется, закричала страшно, захлебываясь слезами и тряся маленькими кулачками:

– Ма-а-ма!

Рядом, оставляя за собой полоску крови, ползла женщина к краю воронки, где еще что-то шевелилось, бесформенное, полузасыпанное землей, что было ее ребенком, мальчиком или девочкой.

В открытом поле смерть настигала людей быстро и безжалостно. Горели уже почти все вагоны. Обезумевшие люди бегали по полю, падали, зарываясь ногтями в землю. Пахло горелым. Пахло цветами. Это смешение запахов было настолько неестественным, диким, что хотелось кричать, чтобы криком разбить эту страшную картину крови и летней степи, детей и пулеметных очередей.

Все это навалилось на нас так внезапно. Смерть, смерть кругом. После солнца и весны, после запаха черемухи…

Какой-то офицер, еще почти мальчишка, пытался навести порядок в этом кричащем мире, приказывая лежать или бежать к балке, видневшейся метрах в трехстах, в зависимости от того, где были самолеты.

Вера стояла на обгоревшей траве рядом с воронкой.

– Ложись! – крикнул я, хватая ее за руку и рывком пытаясь бросить на землю. – Ложись!

Она вырвалась и бросилась к сидевшему метрах в пяти ребенку, спокойно подбрасывающему комья земли. И когда земля, рассыпаясь, летела ему в лицо, он смеялся и смешно отплевывался, пуская пузыри. Рядом с ним возникли бурунчики пулеметных очередей. Это его не испугало. Для него еще не существовало понятия «война».

Вера бросилась к нему и вдруг в полуметре, широко расставив руки и навалившись грудью, как бы уперлась в твердую стену воздуха, не пускающую дальше. Она стучала о невидимую преграду кулачками и что-то кричала, пока, обессиленная, не сползла вниз, к траве.

Я на ощупь нажал кнопку возврата… Панели пульта управления, высокие стойки аппаратуры, мягкий приглушенный свет, букетик цветов в стакане на столе. Скорченная фигура Веры в углу кабины, возле самого входа. Я бросился к ней и приподнял, думая, что она потеряла сознание. Но она широко открытыми глазами посмотрела на меня, вдаль, в пустоту и осторожно высвободилась. Подошла к столу, села, уронив голову на ободранную столешницу. Я знал, что творится в ее душе. Знал ее чувствительную натуру. И если я наверняка не выдержал бы еще нескольких минут, то что сейчас происходило с ней?

Так она сидела минут пятнадцать, и я не смел потревожить ее. Потом она подняла голову и сказала:

– Все сначала.

– Можно отказаться от этой работы и попросить другую.

– Другой такой не может быть. Я выдержу.

…Пронзительно завизжали тормозные колодки, и поезд остановился… Мы стояли на краю воронки. Ветер, смешанный с дымом, рвал волосы.

Плача и размазывая слезы по грязным щекам, кричала девочка:

– Ма-а-а-ма!

Играл сухой обгоревшей землей ребенок. Он был еще настолько мал, что нельзя было понять: девочка это или мальчик. Бурунчики пулеметных очередей возникли почти рядом с ним, и он, смешно переваливаясь на крохотных неокрепших ножках, затопал к этому месту, неумело повторяя: «Мма… мма… мма…»

Через секунду он был убит.

Страшный эпизод далекого прошлого на мгновение смазался, и изображение исчезло.

– У нас мало времени, – сказала Вера. – Начнем моделирование. – Ее глаза сухо блеснули, встретившись с моими. – Ничего, Сергей. Мы успеем.

Нам нужно было проследить судьбу малыша в предположении, что он останется живым. И мы делали десятки таких предположений, выбирая наиболее вероятный вариант его будущей жизни. Логическая машина, используя информацию о прошлом человека, о людях, которые его окружали, событиях, выбирала наиболее возможный вариант, и мы его видели. Вся трудность заключалась в том, чтобы учесть наибольшее количество существенных, главных факторов, отыскать их среди, может быть, на первый взгляд более бросающихся в глаза, более эффектных. Эта работа требовала железной логики, умения мыслить строгими логическими категориями, подавлять в себе эмоции, обязательно возникающие при этом. Эта работа требовала обширных знаний о том времени.

И вот мы увидели, как маленький человечек неуверенно сделал шаг к своей смерти, покачнулся и упал, не дойдя до нее двух шагов. А через минуту самолеты, израсходовав весь свой боезапас, скрылись за горизонтом.

Вокруг плакали, перевязывали раненых, искали родных и знакомых и находили их лежащими в неестественных позах смерти. Смерть всегда неестественна.

Потом вереница людей потянулась вдоль насыпи на восток. Ребенка несла на руках чужая старуха, почерневшая от горя, сухонькая, маленькая. Как она только его несла? Мальчик, это оказался мальчик, попал в детдом, окончил школу, Томский университет. В сорок лет он разработал математическую теорию раковых заболеваний. Это почти на год раньше, чем произошло на самом деле. Кто-то другой сделал это на год позже. На год позже… Сколько жизней не удалось спасти из-за этого.

Второй человечек, тот, который грязным комочком еще шевелился на краю воронки, работал бы простым учителем истории в каком-то захолустном уголке, где, может быть, еще и сейчас нет учителя истории.

Ну что ж. Мы выполнили задание лабораторной работы. Как всякая лабораторная, она не имела практической ценности.

До звонка оставалось не более трех минут, когда Вера сказала:

– Я хочу изменить судьбу девочки. Пусть ее мать останется живой. Хоть краем глаза я хочу посмотреть на это.

Я молча кивнул.

Сначала мы увидели то же, что и раньше. Женщину, лежащую с запрокинутой головой, и девочку. Услышали ее крик:

– Ма-а-а-ма!

Потом то, что хотели увидеть.

Улетающие на запад самолеты и женщину, исступленно целующую свою дочь. Слезы радости, безмерной радости и счастья, что ее дочь жива и невредима, что еще несколько часов, и она уже будет в безопасности, что ей уже ничего не будет грозить, что она будет жить. Девочка, прильнувшая к матери. К заплаканному, постаревшему лицу матери.

Я тронул Веру за локоть.

– Звонок.

Она сама нажала кнопку возвращения в настоящее.

Вся группа собралась в коридоре. Не было обычного оживления и вопросов: «Ну как?», «Успели?».

Результаты работы мы узнаем на следующий день. Проверка работ будет происходить без нас. От нас никто не потребует дополнительных объяснений. Мы узнаем только результат.

На площади перед корпусом по-прежнему было солнечно и жарко. В Лагерном саду гуляли люди. Где-то пели песню. Мы вышли на обрыв к Мане. Здесь было прохладнее. Внизу уже купались нетерпеливые любители поплавать. Вода была еще очень холодная.

– Эх, война, война, – сказал кто-то.

– Да-а, – ответили ему.

Что мы знали о войне?

– Я пойду, – сказала Вера. – К Тронову.

– Зачем?

– Ответ должен быть другим. Разве дело в том, что одним великим человеком могло быть больше? Просто человек мог быть… Дело не в том, что убили будущего ученого. Они этого еще не могли знать. Убили чью-то радость, чье-то счастье. Главное в том, чтобы не было этого страшного крика: «Ма-а-ма!» Чтобы никогда не было этого страшного крика. Пусть из нее или него никогда и не получилось бы гения, все равно людям от этого было бы лучше.

– Тронова этим не возьмешь, – сказал Трубников. – Ему нужна только логика, строгие доказательства без эмоций.

– Это самая лучшая логика! – крикнула Вера. – Я пойду…

– Я с тобой, – сказал я.

Мы побежали по молодой, еще только начинающей выбиваться из земли траве, торопясь застать Тронова.

1970

Вдохновение

В одном из залов краеведческого музея открывалась выставка картин художников-любителей. Событие не такое уж и ординарное для Марграда! К двенадцати часам дня широкая лестница, ведущая на второй этаж, была запружена людьми.

Внизу, около раздевалки, стоял Юрий Иванович Катков, крепкий мужчина лет сорока пяти. Было заметно, что он немного нервничает, но старается казаться спокойным. Ему было отчего волноваться. Он выставил в зале свою картину, после того как двадцать пять лет не брал в руки кисть.

Приглашенный из Новосибирска известный художник Самарин перерезал красную ленточку, и люди хлынули в зал, светлый и просторный.

Народу внизу стало меньше, и Юрий Иванович не спеша начал подниматься по лестнице. Войдя в зал, он остановился возле первой же картины и начал внимательно ее рассматривать. Два монтажника стояли на перекладинах опоры высоковольтной линии. Их богатырские фигуры, веселые лица, потоки света, льющиеся на них спереди, создавали атмосферу радости. Им было легко работать. Это чувствовалось в их позах и в выражениях лиц. Лишь бы вовремя подвозили изоляторы и бухты провода. Спасательные пояса не подведут, движения точны, сила в молодых телах, красота вокруг. Эти люди были победителями.

Каткова мало интересовала техника живописи. О какой уж технике говорить или рассуждать, когда столько лет прошло среди станков, машин и гор металла, когда руки огрубели и держат свободнее тяжелый гаечный ключ, чем легкую кисть. Вот и здесь. Отточенная техника мастера не тронула его. Он отметил только общее настроение, которое вызывала у него картина. Это было ощущение победы, но победы легкой. Эти парни наверняка не знали, что такое настоящий бой. Им все давалось легко.

И все же картина ему понравилась. Но задерживаться возле нее долго не было желания. Достаточно было взглянуть, почувствовать счастье этих парней, а потом сразу идти дальше. Тогда еще ощущение радости труда, которое хотел передать художник, оставалось.

Катков прошел мимо унылого, серого пейзажа.

Посетители выставки говорили о цвете и красках, о размерах картин и тщательно проработанной перспективе пейзажей, о подражании Дейнеке, о самобытном развитии Сарьяна, о том, сколько времени тратит художник на свою картину, и о том, сколько он получит денег, если картину продадут. Одни подолгу останавливались возле каждого полотна, другие чуть ли не бегом осматривали сначала все и лишь потом задерживались возле наиболее интересного для них.

Девчонки носились стайками, пожилые женщины искали диванчики, чтобы немного отдохнуть. Несколько молодых парней остановились возле портрета знатной доярки и вдруг заговорили об экзаменационной сессии.

Окна были открыты, и в зал врывался шум центральной городской магистрали, слышалась смешная песенка, исполняемая нестройными тонюсенькими голосами ребятишек из детского сада, шелест тополей.

Комиссия приняла картину без особых возражений, но сейчас Юрий Иванович на мгновение испугался. А что, если ее нет здесь? Он ушел с работы, чтобы осмотреть выставку одному. Потом можно будет прийти всей семьей.

И вдруг он почувствовал, что следующее полотно его, хотя самой картины еще не было видно, так как перед ней собралось много людей.

– Еще одно направление! – с гневом в голосе сказал красивый высокий мужчина, выдираясь из толпы. – Вы представляете – пустое полотно. А название «Вдохновение».

– Нет, нет, – сказал другой. – Оно не совсем пустое. Там какие-то тени, но нельзя понять, что это такое.

– Куда смотрят устроители выставки?! Так и до сюрреализма можно дойти, и до поп-искусства!

Катков посторонился, пропуская разгневанного мужчину и его спутника, и на мгновение увидел свою картину. Да нет же! Она не пустая! Что имели в виду эти двое?

И вообще, возле его картины говорили непонятное, совсем не относящееся к его полотну. Так, во всяком случае, ему показалось. Может, речь идет о соседних полотнах? Но рядом висели два индустриальных пейзажа.

Катков постоял немного и отошел к окну.

Он давно хотел написать эту картину. Наверное, тогда же, двадцать восемь лет назад. Но была война. Мать возвращалась домой поздно вечером с провалившимися от усталости глазами. Отец, вернувшийся с фронта без руки, все ходил по родным и знакомым и пил. Раньше он был резчиком по слоновой кости. А теперь, с одной-то рукой!.. По ночам мать шила рукавицы, стирала белье и плакала. Только семилетний брат и пятилетняя сестра не знали забот и допоздна носились по улицам. А солнце летом в Якутске почти не заходит.

Война была далеко, за тысячи километров. Но ее чувствовали не только по сводкам Совинформбюро. Калеки на улицах. Дети худые, как прутья. И здесь, за шесть тысяч километров от фронта, был госпиталь. В школах – военная подготовка, штыковые бои. Посылки на фронт с теплыми варежками и бельем… А он, ученик девятого класса, организует бригады по заготовке дров, жердей, погрузке угля…

Он услышал за спиной вежливое покашливание и оглянулся. Перед ним стоял маргадский художник Петровский и незнакомый Каткову пожилой человек.

– Самарин, Анатолий Алексеевич, – протянул он руку.

– Катков, Юрий Иванович, – так же официально ответил Катков.

– А скажите-ка, Юрий Иванович, где мы раньше с вами встречались?

– По-моему, нигде, – ответил Катков. – Да. Я уверен. Мы с вами нигде не встречались.

– А вы, случайно, не работали в студии Броховского в Усть-Манске? Примерно, в пятидесятом?

– Нет, нет, я никогда не был профессионалом.

– Странно, откуда же вы знаете, что я там работал и что это именно там со мной произошло?

– Да нет же! Я впервые слышу, что вы там работали. А что там произошло с вами, тем более не знаю.

– Странно, – задумчиво сказал Самарин и смешно задвигал козлиной бородкой.

Художник Петровский все время стоял молча, но по его лицу было видно, что он хочет что-то сказать. Юрий Иванович кивнул ему, и тот, откашлявшись, спросил:

– Вы ведь знаете, что ваша техника не блестяща?

– Но ведь я только любитель.

– Ну да не в этом дело. Я хотел спросить, где вы откопали сюжет своего полотна?

– Мне его не пришлось откапывать. Он у меня уже двадцать восемь лет. Все никак не мог собраться. Думал, что уж никогда не напишу.

– Вы сказали: двадцать восемь? Но ведь это было всего пятнадцать лет назад.

Юрий Иванович рассмеялся:

– Да нет же. Это было в сорок третьем, в Кангалассах.

– Невероятно. Я точно знаю, что это было в Ташкенте, в пятьдесят пятом.

– Вы, наверное, говорите о чем-то другом.

– Я говорю о полотне, которое называется «Вдохновение». – Он расстегнул рукав рубашки и закатал его до локтя. – Вот чем мне пришлось заплатить за это вдохновение. – Его

рука от локтя до запястья была обезображена шрамом. – Но я не жалею, – улыбнулся Петровский. – За это можно было отдать и жизнь.

– За что за это? – спросил Катков.

– За вдохновение, – ответил Петровский.

– И все равно я не могу поверить, что вы никогда не были в студии Броховского, – сказал, прощаясь, Самарин. – Простое совпадение здесь невозможно.

Катков еще с полчаса побродил по залу, подолгу задерживаясь возле некоторых картин. Многое ему нравилось. И только несколько бодряческих, скорее похожих на рекламы, картин вызвали у него недоуменную улыбку. Все в них было напоказ, неестественно легко и неправдоподобно.

Его все-таки тянуло к своей картине. И он снова подошел к ней.

На картине был изображен обрывистый берег с широкими деревянными мостками, по которым несколько ребят цепочкой катили тачки с углем. Возле берега стояла широкая деревянная баржа. В ее необъятное нутро они сбрасывали уголь из тачек и возвращались назад на берег.

…Да. Все было действительно так. Небольшой поселок Кангалассы в двадцати километрах от Якутска вниз по Лене; горы угля на берегу, черные от угольной пыли тела, горячее якутское солнце и проливные дожди, четырнадцать ребят и усталость, усталость, усталость…

Они приехали сюда с гитарой и мандолиной, чтобы по вечерам сидеть у костра и петь. Вначале у них еще было свободное время, но все тело так уставало за день, что руки отказывались держать гриф. Поскорее смыть с себя грязь и уголь, поесть, блаженно растянуться в палатке во весь рост, немного поговорить, пошутить над нерасторопным Алехой Бирюковым и заснуть. А утром голос Потапыча: «Хлопцы! Уголек ждет!» Никто не знал, когда он умудрялся спать. Это был семижильный старик, всюду и все успевавший делать. Он наращивал деревянные съезды с кучи угля, варил картошку, разжигал костер, нагружал тачки ведерной лопатой. И все время приговаривал: «Уголек-то ждет, хлопцы».

А с хлопцами что-то происходило. Раньше они были уверены, что могут все. Перевыполняли же план на лесозаготовках! Они и на фронт бы пошли, не берут только. И работать могут как черти. Дайте только эту работу!.. А вышло, что не такие уж они железные. И летний зной оказался невыносимым. И баржи – какими-то бездонными. Болели все мускулы, все тело, не успевавшее втягиваться в монотонный, но бешеный ритм работы. Они грузили по четырнадцать часов в сутки, но Потапычу все было мало.

Ведь скоро кончится короткое якутское лето, начнутся дожди, холод, пойдет по Лене шуга. И до следующего лета будут лежать бурты угля, засыпанные снегом. А в июле и ночью светло как днем. Работать можно круглые сутки.

Все понимали девятиклассники. И никому не приходило в голову возмущаться дряблым картофелем и перловой баландой. Четырнадцать часов с тачкой! Надо так надо. Только исчезли шутки, потух огонек в глазах, все делалось через силу, машинально, как во сне.

Потапыч это видел. Каждый раз, когда приезжали новые группы грузчиков, происходило то же самое. Месяц тяжелых работ доводил их до такого состояния, что они уезжали, едва завидев смену и даже не попрощавшись с ним. Потапыч не обижался. Он хорошо знал человеческую натуру. Знал, что неприятности забудутся, люди «отойдут» и уже по-другому будут смотреть на проведенный в Кангалассах месяц. Но Потапычу от этого было не легче.

Прошло всего две недели, но страшно было представить, что впереди еще две. Потапыч старался растормошить их хоть чем-нибудь. Он достал где-то ведро селедки и несколько пар новых брезентовых рукавиц, читал им при свете керосинового фонаря газету, когда они уже проваливались в лихорадочный сон. Только напрасно это было. Все валилось у ребят из рук.

В конце второй недели произошло событие. Алеха Бирюков не удержал тачку. С берега к барже был порядочный уклон, и тачку неудержимо понесло вниз. Растерявшись, он не выпус-

кал ее из рук и бежал рысцой. А тачка катилась все быстрее и быстрее, и Алеха уже несся сломя голову, делая нелепые прыжки и согнувшись в три погибели. Тачка при такой гонке сто раз должна была завалиться на бок или перевернуться, но она благополучно влетела на баржу, не снижая скорости, пересекла ее по помосту из досок и с шумным всплеском свалилась с противоположного борта. Вместе с ней ушел под воду и Алеха, так и не разжавший пальцев.

Все это произошло настолько быстро, что остальные ничего не успели сделать, только кто-то крикнул: «Потапыч! Алеха!» Растерянность прошла, и двое ребят прыгнули в ледяную воду. С откоса, ломая кусты, спрыгнул Потапыч, быстро отвязал лодку и оттолкнул ее от берега. Очутившись в воде, Бирюков выпустил тачку из рук, всплыл на поверхность и тут же начал пускать пузыри. Он плохо плавал. Двое других еще не успели доплыть до него, как Потапыч рывком втянул Алеху в лодку. Затем он помог и тем другим влезть в нее, и через минуту лодка была уже у берега. Все это он проделал молча. И мимо ребят на берегу прошел молча, не сказав ни слова. Искупавшиеся побежали сушиться к костру. А потом возле них собрались и все остальные.

Это происшествие как бы оправдывало то, что они бросили работу. Ребята сидели у костра, нехотя отгоняя ветками мошкару, лишь иногда перебрасываясь случайными фразами, не находя в себе сил даже для того, чтобы радоваться Алехиному спасению. Устали. Провались оно все ко всем чертям! И уголь, и баржа, и Потапыч… Только бы вот так сидеть… Только бы сидеть…

Потом кто-то вспомнил о Потапыче. Странное дело, Потапыч исчез. Юрка Катков с трудом поднялся и, пошатываясь, пошел к палаткам. В одной из них он нашел Потапыча. Через минуту он вернулся к костру и удивленно сказал:

– А Потапыч-то плачет…

Сначала никто не шевельнулся, не поверил.

– Он правда плачет…

Они медленно побрели к палатке и откинули полог. Потапыч, стоя на коленях, уткнулся лицом в березовый чурбан. Плечи его вздрагивали. А парни стояли молча, не зная, что делать. Он, наверное, почувствовал их присутствие и поднял голову. Некрасивое лицо его стало черным. Он плакал, но слез на его лице не было. И от этого он казался еще страшнее и невозможнее.

– Саньку убили, – хрипло сказал он.

Они догадались, что это известие еще утром привез ему сморщенный якут Тургульдинов, который на разбитой телеге доставлял им хлеб из поселка.

– Саньку, – повторил Потапыч.

Они так никогда и не узнали, кто этот Санька был Потапычу. Сын, брат, друг, а может быть, дочь?

– Картошку я начистил, – вдруг сказал он. – Ешьте… Спите… Сегодня… – Помолчал, потом чуть слышно сказал еще раз: – Саньку гады убили…

Он снова уронил свою кудлатую голову на чурбан. Они задернули полог палатки и молча пошли по тропинке к костру. Идущий первым чуть замедлил шаг, поравнявшись с ним, но не остановился и прошел дальше к бурту угля. Второй носком разбитого сапога подтолкнул в костер обгоревшую ветку. Третий только оглянулся на идущих следом. Четвертый неуверенно шмыгнул носом. Пятый сказал: «Мошка проклятая!» – и зло сплюнул себе под ноги. Шестой… Седьмой… Двенадцатый крикнул: «Тачка есть у шестого бурта!» Это относилось к Алехе Бирюкову. Ведь его тачка утонула в Лене… Последний оглянулся на палатку. Там, едва не возвышаясь над ней, ухватившись рукой за растяжку, стоял огромный Потапыч…

– …Ах, Юрий Иванович! – услышал Катков лукавый голос соседки по этажу. – Вечно-то вы что-то скрываете!

– А-а-а! Галина Львовна! И вы здесь?

– Пришла вот посмотреть на вашу картину. Раньше ведь вы все отказывались показать. Ну и талант у вас!

– Что вы! Шутите, конечно.

– А я и не предполагала, что вы такой проницательный. Все-то вы знаете. Кто же вам это рассказал?

– Никто. Я сам видел.

– Ой! – сказала Галина Львовна, женщина лет тридцати с хорошенькой фигурой и красивым, приятным лицом. – Как же это? И зачем вы меня нарисовали в таком виде? – И она смущенно, едва заметным движением показала на середину картины, где Иван Лесков из последних сил, оскалив свои крупные зубы и обливаясь потом, толкал в гору тачку.

Он был высокий и худой. И у него уже не было сил. Но все же было ясно, что он выдержит, на четвереньках вкатит проклятую тачку в гору, трясущимися руками наполнит ее углем и покатит снова, и упадет, и снова встанет, и снова упадет, и крепкое слово с хрипом вырвется из его горла. Но он все равно докатит тачку до пузатой баржи и вернется назад, потому что в его глазах вдохновение. Вдохновение смертельной усталости. Ему даже не придет в голову, как это выглядит со стороны. Дождь, скользкие доски, грязное тело в ссадинах, шершавые рукоятки тачки.

Алеха Бирюков на вид покрепче. Но в семнадцать лет сил еще так мало. Но и им уже овладело странное вдохновение. Вдохновение, рожденное из злости на самого себя, за свое нелепое падение, за свою слабость, за дрожь в поджилках. Его не утащить с этих скользких досок ни за что на свете. Он не упадет и будет толкать тачку, пока не исчезнут бурты мокрого угля.

И сам Катков, представивший, как сидит, тупо уставившись в колени, его отец, который уже никогда в жизни не возьмет в руки творящий резец. Отец, которым выпустил из автомата лишь одну длинную очередь, когда их свежая, только что прибывшая из тыла рота поднялась из окопов, и тут же упал, сначала подброшенный вверх вместе с комьями земли и останками своего лучшего друга, и очнулся за сто километров от линии фронта, еще не зная, что у него нет руки, и снова представляя себе фигурку женщины, вырезанную из слоновой кости, которую он хотел создать еще до войны, но все не решался. Боль за него, за поседевшую мать, боль в мускулах, в висках, в душе. И вдохновение, рожденное из этой боли. Не мимолетное, не легкое, но осознанное и твердое.

Якут Никифор с вдохновением отчаяния в узких черных глазах. Второгодник Сапкин с вздувшимися венами на шее и на руках, еще не знающий, что он больше никогда не увидит своего отца и братьев. Комсорг класса Бакин, получивший похоронную на отца первого мая, в день своего рождения.

Дождь, противный, мелкий, не летний. Вздувшаяся река. Кургузая баржа. Стекающий вниз скользким глинистым потоком берег. И пятнадцать уставших, отчаянно уставших людей. Четырнадцать девятиклассников и один старик. И где-то чуть заметно, в глазах каждого – еле уловимая радость. Радость, потому что в душе они почти уверены, что выдержат.

Они грузили баржи еще две недели. И еще целый месяц. И еще полмесяца. Им не понадобилось смены. И денег в то время за эти работы не платили. А в последний день, когда по Лене уже шла шуга, Бакин играл на гитаре негнущимися пальцами, и все пели и плясали у костра, и пар шел из разгоряченных глоток. Потом Потапыч взял у комсорга гитару и запел: «Там, вдали, за рекой…» А они, ошеломленные, слушали и молчали… Такой у Потапыча был голос…

…Юрий Иванович огляделся. Соседка уже отошла, наверное обиженная тем, что не дождалась ответа.

Он все писал так, как было. Он ничего не приукрасил и нигде не сгустил краски. И название картине он придумал правильное. Это было настоящее вдохновение, родившееся из отча-

яния и боли, бессилия и усталости, надежды и борьбы. Он уже давно не знал, где эти парни и что с ними. Но в этой картине они всегда были вместе.

Катков заглушил в себе воспоминания, снова возвращаясь к действительности. Все смотрели на его картину как-то странно. И здесь, в зале, и дома, когда он писал ее, и в приемной комиссии, когда он после долгих размышлений принес ее сюда. Говорили мало, а если и говорили, то что-то непонятное, вроде бы и не относящееся к его полотну. Жена как-то сказала: «Почему ты пишешь про меня? Пиши про Кангалассы. Ты же давно хотел». Что он мог ответить на это? Ведь он и так писал про Кангалассы. Значит, жена просто не видела этого. Даже младшая дочь и та все время находила в левом углу картины смешного зайчика и смеялась тому, какой он занятный. И сейчас. Смотрят, молчат, удивляются…

Неужели он не смог выразить в своей картине трудное вдохновение, которое тогда охватило их, неужели оно так и осталось в его душе и никого не трогает?

Юрий Иванович посмотрел на часы. Пора было идти на завод. Он медленно прошел по залу, спустился по широкой мраморной лестнице и вышел на проспект в зной, в шум, в людскую сутолоку, во встречные взгляды и шелест шагов по асфальту.

Однажды он рассказывал школьникам про Кангалассы. Его внимательно слушали, не перебивая. Глаза десятиклассников загорелись. А потом кто-то сказал: «Время тогда было другое». Да, время тогда было другое. Это верно. Но все же, может, время внутри нас? Может, это мы делаем время таким, а не иным?

А Самарин с Петровским спорили, вернувшись к картине Каткова.

– Да, да, да! – говорил Самарин. – Это студия Броховского. Я не вылезал из нее месяцами и никак не мог написать то, что хотел. Я грунтовал написанное за месяц и начинал все сначала. И в душу уже закрадывались страх, и тоска, и жалость, и злость на себя. Было время, когда я хотел все это бросить, но пересилил себя. И тогда родилось это незабываемое вдохновение. Катков предельно искренне изобразил тот самый, переломный момент. С него все и началось. Не мог он написать свое полотно, не видя меня в то время. Талант этот Катков.

– Согласен с вами, – ответил Петровский. – И про вдохновение тоже правильно. Но только это написано про меня. Здесь изображен момент, когда отчаяние и страх неизбежного поражения заставили меня собрать всю волю, все силы в кулак и победить. Это было тоже вдохновение.

– Значит, вы видите на полотне не то, что я? – удивился Самарин.

– Я вижу самый важный момент в своей жизни, – ответил Петровский.

– То же самое вижу и я. Только из своей жизни.

– Это же невозможно! Как ему удалось создать картину, в которой каждый из нас видит свое?

– Мы, наверное, этого никогда не узнаем.

– Счастливый, должно быть, человек этот Катков, – вздохнул Петровский.

А Юрий Иванович шел по мягкому, в дырочках от каблучков, асфальту. В сорок пять лет уже не особенно расстраиваются оттого, что не совершили в жизни ничего значительного, лишь тихая грусть поселяется в сердце.

Катков шел на работу, к станкам и чертежам, к привычному шуму завода, к его людям и заботам. И снова, как и двадцать восемь лет назад, отступали усталость последних сумасшедших месяцев, сомнения и неуверенность. И снова в его душе появилось странное вдохновение, и он уже был уверен, что сегодня или завтра найдет причину, по которой взрываются подземные «кроты», – огромные машины, сконструированные им и еще десятком инженеров.

Юрий Иванович расстегнул воротничок рубашки и пошел быстрым шагом мимо расступившихся в стороны прохожих… А картина? Ну что ж, он напишет еще одну. И снова назовет ее «Вдохновение».

Он не знал, что люди увидели в тот день себя на удивительном полотне. Оно заставило их вспомнить, близко ощутить то, что было самым главным в их жизни.

Катков этого не знал. Он шел быстрым шагом, и его ждала новая работа, новое вдохновение.

1971

Газетный киоск

1

В двадцати шагах от себя ничего нельзя было разобрать, такой стоял туман. Только электрические лампочки да подслеповатые фары автомобилей тускло высвечивали размытыми желтыми пятнами. Полста градусов ниже нуля! Редкий скрип шагов да пронзительные гудки машин, и холод, холод… И в Усть-Манске, и в его пригородах, и на тысячи километров вокруг.

Я бежал из гостиницы в клуб электромеханического завода, где в двенадцать часов открывалась конференция. Меня никто не обгонял, потому что я бежал быстро, потому что я был в легких ботинках и осеннем пальто, потому что пар от моего дыхания мгновенно замерзал на моем лице, а нос совершенно онемел и хотелось сунуть его под мышку. И еще мне хотелось, чтобы мороз стал не таким злым, чтобы я смог посмотреть на свой Усть-Манск, побродить по его новым кварталам, зайти к кому-нибудь из старых друзей в гости, а потом, как когда-то давным-давно, пойти в городской парк, покататься там с горок, потерять шапку и найти ее набитую снегом, и смеяться, и хохотать, и играть в снежки, и дурачиться. Мне хотелось всего… Потому что я уже десять лет не был в Усть-Манске, а до этого прожил в нем двадцать лет.

У меня в запасе было еще полтора часа. Я хотел прибежать первым и согреться. А потом стоять и смотреть, как замерзшие в ледышку люди вместе с клубами пара вваливаются в фойе, стучат ногами и растирают друг другу щеки.

– Никогда в этом киоске не купишь свежую газету, – раздраженно сказал кто-то закутанный с ног до головы и чуть не сбил меня с ног. – Извините.

Я отскочил в сторону и увидел перед собой газетный киоск из стекла и пластмассы в кружевах искрящегося инея. Он весь светился изнутри и был похож на сказку. Вот только как там сидит старушка, продающая газеты? Предположим, что внутри на десять градусов теплее. Все равно минус сорок. Брр! Как только она там сидит? Может быть, замерзла уже?

Я решил купить газету, чтобы не терять зря времени на некоторых докладах. На мой судорожный стук окошечко киоска тотчас же открылось.

– Бабуся! – крикнул я. – Пять сегодняшних газет. Одну местную.

– Я не бабуся. Я Катя-Катюша, – ответил мне девичий голосок.

– Катя-Катюша? Отлично, Катя-Катюша! Так как же насчет газет, Катя-Катюша? – Слово «Катюша» губы выговаривали с трудом, но я нарочно несколько раз повторил его.

– У меня не бывает сегодняшних газет.

– Это я уже слышал. Но только зачем мне вчерашние? Я их уже читал.

– И вчерашних не бывает.

– Для чего же вы тут сидите?

– Я продаю только завтрашние газеты, – ответила девушка, и в окошке показалось ее лицо в теплой вязаной шапочке. – Господи! Да вы ведь щеки поморозили! Оттирать нужно! Вам далеко?

– До клуба электромеханического…

– Не успеете. – И чуть помедлив: – Заходите ко мне. Здесь тепло.

– А можно?

– Заходите. Чего уж…

Я дернул дверцу киоска, но, наверное, слабо, потому что она не открылась, и запрыгал, хлопая себя по щекам, локтям и коленям. А пальцы ног-то ведь уже ничего не чувствовали.

– Сильнее! – крикнула девушка.

Я дернул изо всех сил, протиснулся вместе с клубами мгновенно образовавшегося пара внутрь киоска – там и на одного-то человека места было мало – и остановился в нерешительности, изогнувшись как вопросительный знак.

– Садитесь, – девушка указала на кипу газет.

Я сел и сразу же придвинул ноги к двум электрическим батареям.

Внутри киоска было светло, тепло и сухо. И еще – очень чисто и уютно.

– Щеки почернеют, девушки любить не будут, – сказала она и засмеялась. – Оттирайте.

Я стянул зубами перчатки и попытался распрямить пальцы. Ничего у меня не вышло.

– Плохо ваше дело, – сказала девушка, сняла варежки и теплыми ладонями осторожно прикоснулась к моим щекам. Я не возражал. Она спросила: – Вы приезжий или из тех пижонов, которые специально не носят зимнюю одежду, а потом годами лежат в больницах?

– Я приезжий, Катя-Катюша. Я бегу из гостиницы на конференцию… По распространению радиоволн.

– А-а… Я уже читала в газете. – Она еще несколько раз провела своими теплыми ладонями по моим щекам. – Теперь отойдут.

– Спасибо, Катя. Давайте знакомиться. – Я протянул ей свою еще не совсем отогревшуюся пятерню. – Дмитрий Егоров.

Она тоже протянула свою руку и при этом почему-то так весело рассмеялась, что не выдержал и я.

– Так это, значит, вас раскритиковали на конференции?

До меня не сразу дошел смысл сказанных ею слов.

– А я еще думала, какую газету оставить. Но только везде одно и то же. Так, значит, вы и есть Дмитрий Егоров, беспочвенный фантазер?

– Катя, я не беспочвенный фантазер. Я, напротив, почвенный. Вы представляете, как проникают радиоволны в почву?

Она отрицательно покачала головой.

– Ну тогда скажу короче. Я ищу полезные ископаемые и воду с помощью проникающих в почву радиоволн. Без буровых вышек и проб грунта. Но только никаких фантазий здесь нет. Интересно? – спросил я.

– Интересно, – ответила она. – Расскажите. Все равно ведь конференция начнется в двенадцать.

Я рассказал ей, как нынешним летом наша экспедиция работала в Васюганских болотах на севере Томской области, как нас ели мошка и комары, как барахлила аппаратура и ребята становились злыми и замкнутыми, а Гошка, наш руководитель, начинал орать песни. Ему предлагали заткнуться, катиться подальше, показывали кулаки, а он все пел, выплевывая из горла везде проникающий гнус, и называл нас «манной кашей». Но «манной кашей» нас не проймешь. А вот песнопений его никто вынести не мог. Кто-нибудь, всхлипывая, начинал хохотать, а потом не выдерживали и остальные. И все хохотали, хватаясь за животы.

– Спеть еще? – говорил Гошка и добавлял: – То-то же, «манная каша».

Комары все так же ели нас, а аппаратура не работала, но в нас появлялась злость на самих себя, на свою беспомощность. И мы уже не хотели быть «манной кашей» и не вылезали из тайги, хотя нас отзывали три раза. Только наша аппаратура так и не заработала как следует. Это, в общем-то, мало кого удивило. Есть электро-, магнито-, радиационная и гравиразведка. Но мы-то хотели совсем другого. Мы хотели видеть сквозь землю, как через прозрачное стекло. Экспедиция провалилась.

– И все равно интересно, – закончил я. – И нужно…

Мне показалось, что в ее глазах промелькнула мгновенная зависть. Ведь в конечном итоге я что-то делал, к чему-то стремился, падал, и вставал, и шел дальше. А она, наверное, какой год сидит в этом маленьком киоске, продает газеты и открытки, отсчитывает сдачу, видя только

протянутые в окошечко человеческие руки, и даже не пытается что-нибудь изменить в своей судьбе. Я расправил плечи и предложил:

– Катя-Катюша, поедем с нами в экспедицию?

– Поварихой? – вполне серьезно спросила она.

– Почему именно поварихой? – смутился я.

– А кем же еще?

– Ну, например…

– Хорошо, я согласна, – сказала она.

– Правда?

– Правда. Все равно вы меня не возьмете. Вы шутите. А притом продавать газеты тоже интересно.

– Куда уж интереснее, – с сарказмом, как мне самому казалось, сказал я. – Так и просидишь здесь всю жизнь.

Она не обиделась, сверкнула на меня своими большими глазами, в которых уже не было зависти, а были только смех и ирония.

– М-да, – сказал я.

Я уже окончательно согрелся, но уходить не хотелось. За все это время никто ни разу не стукнул в окошечко. Наверное, в такой мороз никому не хотелось покупать газеты.

Я украдкой посмотрел на Катю. Она была небольшого роста, с черными, выбивающимися из-под шапочки волосами. И глаза у нее были черные, а щеки немного припухлые, как будто она их слегка раздувала. На ногах у нее были кожаные сапожки на высоких каблучках, а в углу, за столом, я заметил валенки. Легонькое зимнее пальто с небольшим воротником было расстегнуто до половины, и из-под него выбивался голубой пушистый шарф.

– И теперь вы снова ринулись в бой? – смеясь, спросила Катя. – Хотите доказать, что вы были правы?

– Хочу, – ответил я.

– Ничего у вас не выйдет. И снова вас назовут беспочвенным фантазером.

– Ах, Катя-Катюша, – сказал я огорченно. – Вы-то зачем это говорите? Ведь вы этого не можете знать наверняка. Еще неизвестно, кто…

Я не договорил, потому что она вдруг сунула мне в руки газету и сказала:

– Читайте.

Я мельком пробежал по первой странице. Ничего особенного. Все как и должно было быть. Лесные богатыри, доярки, почины, соревнования.

– На третьей странице, – подсказала Катя.

Я развернул газету и прочитал: «В Усть-Манске проходит всесоюзная конференция по распространению радиоволн».

Катя тихонько хихикнула в рукав. Наверное, на моем лице слишком явно было написано удивление. «24 декабря в 12 часов дня в Доме культуры электромеханического завода открылась всесоюзная…»

– Какое сегодня число? – хрипло спросил я, с ужасом думая, где я мог потерять целый день.

– Двадцать четвертое, – ответила Катя совершенно серьезно.

– Тогда почему об открытии говорят в прошедшем времени? Ведь она откроется только через час!

– Так ведь это завтрашняя газета.

Я перевернул лист. Газета «Красное знамя», 25 декабря.

– Ничего не понимаю… Какое же сегодня число?

– Двадцать четвертое. Какое же еще!

– Ну вот что, Катя. Вы меня простите. У меня что-то с головой. Переохладился, наверное.

– Вы не переохладились, и голова у вас в порядке. Это завтрашняя газета! Я всегда продаю завтрашние. Только их плохо берут. Все требуют сегодняшних. А сегодняшних ко мне не завозят.

– Этого не может быть!

Но ведь статья-то была написана про нашу конференцию. И мой доклад был назван прожектерским.

– Странно, – сказал я. – Теперь я знаю, что со мной будет в ближайшие часы. А если я захочу все сделать не так, как здесь написано? Возьму и не пойду на конференцию?

– Ничего не выйдет, – сказала Катя. – У вас нет причин для этого. Ведь это не только ваш доклад?

– Да, действительно. – Я на мгновение представил себе взбешенную физиономию Гошки и вздрогнул. – Похоже, что ничего не изменишь. Разве что в мелких деталях, которые все равно в газете отсутствуют. Ловко это у вас получается, Катя. Продавать завтрашние газеты – это не то что сегодняшние. Это интересно.

– Значит, не возьмете в экспедицию? – спросила она насмешливо.

– Вот что, Катя, – сказал я, не отвечая на ее вопрос. – Когда вы закрываете киоск?

– В восемь.

– Я зайду за вами в половине восьмого. Хорошо?

– Хорошо. Только что мы будем делать? На улицу вас надолго выпускать нельзя. Замерзнете.

– Что-нибудь придумаем. Я побежал, Катя-Катюша. Я хочу сделать все, чтобы меня назвали беспочвенным фантазером. Я хочу этого!

– Счастливо, – кивнула она. – А я хочу вас ждать.

Я как вкопанный остановился в дверях, не зная, что и сказать. Опять она смеется надо мной!

– Бегите, бегите. Тепло все вышло. Я буду ждать!

2

Я выбежал в пятидесятиградусный мороз и, окутанный столбом пара, помчался вверх по проспекту – мимо университетского общежития, мимо фигуры Кирова, стоящего с поднятой рукой, мимо корпусов Политехнического.

В просторном, но аляповатом фойе Дворца культуры с канделябрами, люстрами и кожаными диванами было уже полно народу. Я сдал свое чисто символическое пальто в гардероб, взбежал на второй этаж и оттуда с балкона уставился вниз, надеясь отыскать в толпе знакомое лицо.

Мне повезло, и через десять минут я уже разговаривал со своим бывшим однокурсником. И начались вопросы: где? когда? женат? дети? сколько? диссертация? Семена Федорова? Как же, помню. Морозина? У нас тут нынче все время морозина.

Из знакомых я больше никого не встретил, а мой однокурсник вскоре оставил меня. Он был одним из организаторов конференции, и я понимал его. Хлопотливое все-таки хозяйство эти конференции.

Ровно в двенадцать зазвенел звонок председателя. С вступительным словом выступил знаменитый академик. Потом объявили распорядок работы секций и подсекций, комитетов и комиссий. Конференция начала свою работу.

Я не взял в Катином киоске газету. Почему – сам не знаю. Наверное, растерялся, заторопился. И теперь приходилось слушать длинные обзорные доклады.

В перерыве все бросились в буфет пить пиво и жевать бутерброды.

А потом началась работа секций, и в нашей секции, к моему удивлению, оказалось человек сорок. А я-то думал, что все радиофизики ринулись в исследование ионосферы, плазмы и прочего, что ближе к космонавтике.

Половина докладов была из тех, которые нужны будущим кандидатам, чтобы набрать шесть печатных работ. Ведь любой доклад, даже самый захудалый, засчитывается как печатная работа. И сами докладчики пытались отбарабанить их побыстрее, облегченно вздохнуть и скромно сесть на место. Вопросов и выступлений по таким докладам обычно не бывает.

Потом начались доклады посерьезнее. Некоторые были просто блеск. А уже в шестом часу выступил и я. Я говорил сдержанно и уверенно, и меня слушали не перебивая. Мне даже показалось, что не будет завтрашней статьи о «беспочвенном фантазере». Вопросы задавали самые простенькие, и я уже надеялся выйти отсюда живым, но это была только легкая разведка. И через полчаса от моего доклада не осталось камня на камне. Причем особенно старались «зубры» из Усть-Манского политехнического института. Как назло, в комнату вдруг вошел корреспондент и несколько раз сверкнул фотовспышкой.

А я почему-то не был особенно расстроен. Конечно, от Гошки мне достанется. И денег на летнюю экспедицию дадут в три раза меньше, чем необходимо. Но я сделал все, что мог. Я старался изменить корреспонденцию в завтрашней газете. Старался изо всех сил. Ничего не вышло. И теперь я знал, что в газете все будет так, как я уже читал. Значит, девушка из стеклянного киоска действительно продает завтрашние газеты!

3

Я зашел за ней без двадцати восемь. Раньше не мог освободиться. Двадцати минут до закрытия киоска мне хватило, чтобы немного согреться.

– Ну и как? – спросила Катя, а глаза у нее лукаво смеялись.

– Все правильно, – ответил я. – Доклад прожектерский. Странно только это все. Откуда же тебе привозят завтрашние газеты?

– Из типографии, – сказала она.

– И все в Усть-Манске так спокойно относятся к тому, что ты продаешь завтрашние газеты?

Мне показалось, что она погрустнела.

– Да ведь мало кто знает, что это завтрашняя газета. Для всех она сегодняшняя.

– Постой, постой. Значит, для тебя эта газета завтрашняя, а для всех других – обыкновенная, сегодняшняя?

– И для тебя она завтрашняя, – сказала Катя.

– И для меня. Хорошо. А для других?

– А для других она сегодняшняя.

– А часто встречаются люди, для которых она завтрашняя?

– Не очень.

– Ну а все же?

– Ты первый. – Она улыбнулась и сморщила носик. – Я сразу подумала, что ты увидишь ее.

Пора было закрывать киоск. Катя переобулась в валенки, потушила свет и закрыла киоск. Нам повезло, и через минуту мы остановили такси. Гулять по улице в такой мороз было невозможно, особенно для меня. Я пригласил ее к своему институтскому товарищу, и она согласилась.

Мой товарищ жил в двухкомнатной квартире. Его жена только что пришла с работы и сразу же начала жарить картошку. Трое ребятишек, от шести до девяти лет, затеяли с нами беседу о Томе Сойере…

Часов в одиннадцать мы ушли. Я проводил Катю до общежития и даже зашел в коридор. Мы проговорили еще с час, но я уже не приглашал ее с собой в экспедицию. Я и сам бы с радостью согласился продавать завтрашние газеты.

Мне всегда все хотелось узнать до конца, и я спросил Катю:

– Ну а какой же все-таки смысл в этих завтрашних газетах, если этого никто не знает?

– Я-то знаю, – ответила она.

– Но ты все равно ничего не можешь сделать!

– Как знать, – ответила она мне загадочно. – Завтрашние газеты приходят разные. Не во всем, конечно. В мелочах. Погода чуть теплее или чуть холоднее. Чья-нибудь болезнь или выздоровление, чья-нибудь радость или грусть. Газеты приходят немного разные, а я выбираю какую-нибудь одну. И уже это-то и есть настоящая газета.

Она резко наклонила мою голову, поцеловала в губы и убежала, крикнув:

– Завтра в девять!

А я остался стоять, растерянный и счастливый.

4

Утром я встал часов в семь. Сосед по комнате еще спал, и его виртуозный храп разносился, наверное, по всей вселенной. Он не давал спать мне всю ночь, но и сейчас, в бодрствующем состоянии, выслушивать его руладу у меня не было сил. Я оделся и пошел в буфет съесть горячую сардельку. Потом вернулся в комнату, взял портфель, пальто и вошел в фойе. Находиться в комнате я по-прежнему не мог. В фойе я просидел, наверное, с час. Я должен был зайти к Кате в киоск в девять часов, а было еще только восемь.

В полдевятого я не выдержал и очертя голову ринулся в морозное утро. На улице было ничуть не теплее вчерашнего, и, наученный горьким опытом, я теперь передвигался по улицам только бегом.

Газетный киоск, как и вчера, блестел, словно усыпанный алмазами. Я постучал в окошечко и вместо приветствия крикнул:

– Катя-Катюша, я замерзаю!

Она мне ничего не ответила, скомканная газета зашуршала внутри киоска, я дернул ручку двери и ввалился внутрь киоска.

Катя сидела, повернувшись ко мне всем корпусом и прижимая к груди кипу пахнущих типографской краской газет.

– Я вовремя? Я не опоздал?

– Не знаю, может быть, – сказала она еле слышно.

Это меня несколько удивило и озадачило. Она была чем-то расстроена и словно не хотела со мной разговаривать. Я спросил:

– Что-нибудь случилось?

– Случилось, – сказала она. – Мне нужно уйти.

Я ничего не понимал.

– Прости меня, Дмитрий. В десять часов загорелся… загорится детдом на улице Вершинина. Я должна предупредить.

Я мельком взглянул на часы. Времени было еще больше часа. А до улицы Вершинина, где расположен детдом, я знал, было минут десять ходу.

– Здесь есть где-нибудь телефон поблизости? Надо просто позвонить им.

– Телефон есть в Институте радиоэлектроники. Но по телефону могут не поверить. Надо идти.

– Мы успеем еще, – сказал я. – Давно ты это прочла?

– Только что, когда ты стукнул в окошечко.

– Бежим, – сказал я.

– Не ходи со мной. Я должна одна.

– Ерунда. Подробности известны?

– Известны, – ответила она, но как-то через силу, словно не хотела отвечать, словно говорила неправду.

– Дети все целы?

– Все… один чуть не сгорел.

Я выскочил из киоска, за мной вышла Катя, закрыла киоск на замок и сунула ключ мне в карман. Я был немного взвинчен и не так остро чувствовал мороз, как пять минут назад.

Она схватила меня за руку, и мы побежали. Первые метров сто мы молчали, потом она повернула голову и испытующе посмотрела на меня. Я попытался улыбнуться, но губы все-таки успели уже замерзнуть.

– Я бы поехала с тобой поварихой, – сказала она.

– Так поедем! Решайся! – Слова мои были бодрые, но вслух получилось что-то отнюдь не героическое.

– Хорошо бы, – ответила она.

– Поедем. – Я остановил ее на мгновение. – Незачем дожидаться лета. Поедем через три дня, когда кончится конференция?

Она смешно сморщила свой носик, и кивнула, и снова потащила меня вперед. Мы побежали по проспекту Кирова. Возле кинотеатра «Октябрь» мы срезали угол и очутились на улице Вершинина, прямо напротив детского дома. Здание было новое, двухэтажное, кирпичное, в окнах горел свет, и ничто не предвещало близкого пожара. Мне даже вдруг показалось, что Катя подшутила надо мной, что она зачем-то проверяла меня. Но она так решительно дернула калитку небольшого, не выше метра, заборчика, что у меня пропали всякие сомнения. Калитка тотчас же со скрипом отворилась, но возле парадного нам не повезло. Или звонок не работал, или его никто не слышал. И только когда мы догадались обежать дом, то сообразили, что парадное наверняка завалено всяким хламом и входить нужно с черного входа.

Дверь была открыта, а свет – конечно, в целях экономии – выключен. Натыкаясь друг на друга и на ступени, мы добрались до коридора. В нем было светло. Напротив можно было угадать парадную дверь, еле проглядывавшуюся, и то лишь сверху, сквозь груды самых разнообразных предметов. Слева располагалась кухня. Оттуда тянуло приятными запахами. Рядом была комната, что-то вроде столовой, и там уже сидели ребятишки, вихрастые и бритые, с косичками и коротенькими прическами. Две воспитательницы с подносами ходили вокруг столов. Направо была спальная комната. Что находилось на втором этаже, я, конечно, не знал.

Катя сразу же направилась к двери, где сидели дети, и сказала женщинам, поманив их рукой:

– Можно вас на минутку?

Воспитательницы взглянули на нее недоуменно, и одна из них, поставив поднос на тумбочку, подошла к дверям.

– Здравствуйте, – сказала Катя и пригласила ее выйти в коридор.

– Здравствуйте, – сказала женщина и переступила порог.

– Не спрашивайте, откуда я это узнала, – начала Катя. – Я не могу этого объяснить толково… Около десяти часов в этом здании возникнет пожар.

– Ой, – схватилась за грудь женщина.

– Надо одеть детей и договориться с соседними домами, чтобы их приняли.

– Ой, – повторила женщина и позвала вторую: – Мария Павловна!

Дети с интересом поглядывали на эту сцену и уже начинали шуметь и шалить.

– Мария Павловна, пожар у нас, – запричитала женщина.

– Что случилось? – строго спросила Мария Павловна. – Вы кто такие?

– Я продаю газеты, он – инженер. В десять часов у вас будет пожар. Детей надо выводить.

– В такой мороз выводить? – снова строго сказала Мария Павловна.

– Так ведь пожар, – прошептала первая воспитательница.

– Действовать надо, – решился вступить в разговор и я. – У вас тут есть телефон?

– Есть, – ответила Мария Павловна и показала рукой. Телефон оказался за моей спиной.

– Он позвонит в пожарную, а вы одевайте детей. – Катя говорила спокойно и негромко. Она старалась говорить убедительно, чтобы ей поверили.

Первая воспитательница, испуганно ойкая, убежала на второй этаж. Из кухни вышла повариха и присоединилась к нам. С улицы пришел дворник, закутанный шарфом почти до самого лба, и стукнул о пол деревянной лопатой, которой сегодня на улице делать было совершенно нечего.

Я набрал номер и сказал в трубку, когда на другом конце провода ответили:

– Нужно пожарную машину к детдому на улице Вершинина.

– Давно горит? – деловито осведомились у меня, а невидимому для меня собеседнику крикнули: – Седьмую заводи! Что горит-то? – Это уже относилось ко мне.

– Пока ничего, но в десять часов загорится.

– Снова шутники, – недовольно сказал голос, и трубку повесили.

Я набрал номер второй раз, но разговор мой кончился так же безуспешно. Мне не верили.

Со второго этажа спустились три женщины. Одна из них была заведующая детским домом.

– Противопожарная безопасность у нас в порядке, – сказала она нам. – Вы с проверкой?

Кате снова пришлось объяснять, но заведующая все же подтащила нас к стене и заставила прочесть «порядок эвакуации детей в случае пожара». «Порядок» был просто чудесным, и было очень жаль, что он неосуществим в данном здании ни при каких обстоятельствах.

– У вас хоть есть огнетушители? – спросил я, поглядывая на часы. Было уже около десяти.

– Есть, – сказала заведующая. – Были то есть. Они вот тут висели. – И она указала на три более темных, чем остальная стена, пятна. – Один сорвался и чуть было не убил Танечку Солнцеву. Пришлось в сарай вынести.

Время шло. Нужно было что-то предпринимать.

– Почему огнетушителей нет на месте?! – рявкнули.

Заведующая сразу струсила. Кто их знает, может, действительно комиссия с проверкой.

– Аникеич! – крикнула она. – Тащи живо огнетушители!

Дворник рванулся на улицу, тотчас же возвратился, потому что у него не оказалось ключей. Женщины начали нервно разбираться, у кого могут быть ключи. Аникеич нашел их у себя и снова ринулся на улицу.

– Одевайте детей! – приказала Катя.

Ее и послушали и нет. Детей подняли из-за стола и повели по коридору. Но все это делалось как-то неуверенно, словно все ждали, что ложную тревогу вот-вот отменят.

Детей было человек пятьдесят. И как я понял позже, на втором этаже было еще сто двадцать. Я начал растаскивать свалку у парадного входа. Санки кидал прямо в спальню, бочонки с остатками прокисшей капусты закатывал на кухню. Кто-то пытался мне помогать, но я крикнул, чтобы быстрее одевали детей и сразу же выводили на улицу.

Катя снова позвонила в пожарную команду, и ей, кажется, поверили. Я разгреб половину свалки, и теперь мне нужно было только добраться до двери, чтобы все остальное выкинуть прямо на улицу. Пошли какие-то грабли, лопаты, старые половики и ведра с пробитыми днищами.

Повариха загасила плиту водой. Начали выключать электрокамины, но они были включены в самых неподходящих местах, так что до розеток кое-где нельзя было сразу и дотянуться. Одна из воспитательниц побежала в кинотеатр договариваться, чтобы там приняли детей в

фойе. Заведующая все еще не верила нам. Что она с нами сделала бы, окажись эти, хотя и неорганизованные, приготовления напрасными!

Отворилась дверь черного хода, и в коридор ввалился дворник с двумя огнетушителями в руках. Он несколько раз чихнул, пытаясь что-то сказать. Наконец это у него получилось.

– Горим! – крикнул он, прибавив несколько крепких слов, и ударил огнетушителем об пол. Только толку от этих мерзлых огнетушителей было мало. А пар, ворвавшийся вместе с дворником в коридор, не рассеивался. Это был не пар. Это был дым. У меня ело в глазах. Дворник бросился помогать мне. И когда парадная дверь была очищена, деревянная перегородка уже горела.

Через двадцать минут приехала пожарная машина. Дети к этому времени уже были переведены в кинотеатр. Пожарное начальство осталось разбираться в причинах пожара. Воспитательницы еще не совсем пришли в себя от пережитого. А я летел в машине «скорой помощи», держа в своей руке холодную и мокрую Катину ладонь. Катя пыталась удержать падающую деревянную перегородку между двумя комнатами, чтобы успели увести последних детей. Их увели по запасному выходу, металлической лестнице со второго этажа во двор. Их всех увели, а она не успела отскочить, и горящая деревянная перегородка прижала ее к полу. За минуту до этого она сунула мне в руки полуодетую девочку и крикнула, чтобы я подошел с улицы к окну, возможно, через него придется подавать детей.

На мне даже мелких ожогов не было. А на ее лицо мне не разрешили взглянуть, оно было закрыто чем-то белым.

5

Я сидел в холле клиники, растерянный и разбитый. Они сказали, что сделают все, что в их силах. Я представлял, в каких случаях говорят такое.

Мне раза три предлагали уйти, потому что я ничем не мог помочь и только раздражал врачей своими вопросами. Когда меня выгоняли в четвертый раз, а я все приводил доводы, чтобы остаться, один из молодых врачей вдруг сказал мне:

– Пусть попытается, если хочет помочь. Завтра об этом объявят в газетах, сегодня вечером передадут по радио, но может быть уже поздно. Вы где живете?

Я покачал головой:

– Я приезжий.

– Жаль. Значит, у вас здесь нет знакомых?..

– Есть, но очень мало.

– Нужно делать пересадку кожи. Нужны добровольцы. Человек пятьдесят. Может быть, больше.

– Я сделаю! – закричал я и выбежал на улицу.

Конференция уже начала свою работу.

У меня хватило соображения не поднимать паники и разыскать своего институтского товарища. Он выслушал меня молча и сказал:

– Подумать только. Вчера она была такая веселая. – И добавил: – Ты хорошо сделал, что сказал мне. Все будет сделано. Вашу же секцию и пошлем первой.

Я вошел вместе с ним в помещение, где работали радиофизики-почвенники, и сел на первый же попавшийся стул. Мой товарищ о чем-то пошептался с председателем секции, и тот, дождавшись, когда выступающий закончит свой доклад, объявил всем:

– Товарищи! В городе произошел несчастный случай. Требуется кожа для пересадки. Я думаю, мы сделаем перерыв и все вместе пойдем в клинику. Это недалеко, всего два квартала… Девушка может умереть.

В клинику отдельными группами и через определенные интервалы пришла вся конференция.

Около часа дня меня все-таки впустили в палату, где находилась Катя. Белая подушка, белая простыня поверх тела и моток бинтов вместо лица. Только черные кружочки глаз с обожженными ресницами да чуть обозначенные губы. Я присел на табурет рядом с кроватью. Катя смотрела на меня неподвижно, не мигая. А я не знал, что сказать ей сейчас. Все слова застряли у меня в горле. Я бы только погладил ее по щеке и волосам, но этого нельзя было делать. Я просто кивнул ей и попытался бодро улыбнуться. Не знаю, что она прочла в моей улыбке, но губы ее слегка шевельнулись, и по их движению я понял, что она сказала:

– Щеки почернеют, любить не будешь…

– Буду, буду, – сказал я. – Катя, я увезу тебя из Усть-Манска. А летом мы поедем в Васюганские болота кормить комаров.

Меня вывели из палаты. Кате снова стало хуже.

– Вы здесь ничем не можете помочь, – сказали мне. – Идите в гостиницу. Зайдите к Кате на работу, сообщите, что случилось. Ну, в общем, делайте что-нибудь, действуйте. Завтра утром можете приходить.

Я вышел на проспект и пошел по нему вниз.

6

Я был в состоянии какого-то душевного оцепенения, в голове не было ни одной мысли. Даже мороз не действовал на меня. Так я дошел до Катиного газетного киоска и вспомнил, что ключ от него лежит у меня в кармане. Я открыл замок, зашел внутрь и включил свет. Газета лежала четвертой страницей кверху. Я сразу нашел небольшую заметку в отделе происшествий. В ней говорилось, что вчера в десять часов утра из-за плохой электропроводки возник пожар в детдоме по улице Вершинина. При спасении детей погибла Екатерина Смирнова.

Катя Смирнова. Я даже не знал, что ее фамилия Смирнова. Просто Катя-Катюша.

В газете была написана неправда! Ведь она не погибла при спасении детей. Она жива!

Я случайно взглянул на скомканный лист газеты, лежавший рядом, и вспомнил, что, когда утром я зашел к Кате в киоск, она смяла газету, взглянула на ту, что сейчас лежала передо мной, и только после этого сказала, что будет пожар. Она знала, что с ней произойдет, и все же пошла.

Я развернул смятую газету. Она тоже была завтрашняя. Только в ней говорилось, что погиб Дмитрий Егоров.

В висках глухо застучало. Теперь я понял всем своим существом, что она имела в виду, когда говорила, что по утрам выбирает газету. У нее всегда бывает несколько разных экземпляров. И вот сегодня она выбрала свою смерть только потому, что еще был я. Это я должен был держать падающую горящую стенку, а она отправила меня на улицу с поручением, которое мог выполнить любой другой. Я должен был лежать, придавленный горящими досками.

Я взял из пачки еще одну газету… Погиб Дмитрий Егоров… Третью… Тоже самое. Я настойчиво искал нужную мне газету. Должен быть третий вариант. Должен! Кате просто не хватило времени, чтобы найти его. Она так спешила. Она так обрадовалась, что нашла второй, что я останусь жить…

Сегодня я выберу завтрашнюю газету.

И я нашел этот экземпляр. Он был правильный. Ведь сотни людей сделали все, чтобы она жила, сотни людей старались, сами не зная того, изменить содержание заметки.

И я решил, что выберу и буду продавать именно эту газету, чтобы все знали, что Катя жива, что она только получила страшные ожоги, но она будет жить, обязательно будет жить. Я буду внушать это всем людям, которые заглянут в киоск.

Но было слишком холодно, и никому не хотелось задерживаться у киоска. Тогда я вышел на тротуар с пачкой газет и начал раздавать их прохожим.

– Прочитайте, пожалуйста, про Катю Смирнову! Она будет жить! Прочтите! Катя будет жить! Захотите этого!

Сначала я думал, что на меня будут смотреть как на сумасшедшего. Но ничего подобного не произошло. Прохожие брали газеты, останавливались, расспрашивали меня, сочувствовали, выражали надежду, что она, конечно, будет жить.

– Вы должны очень желать этого, – говорил я. – Это она, Катя, доставляет вам маленькие и большие радости. Вы не замечаете этого, потому что не знаете, что, не будь ее, не было бы и ваших радостей. Это она хочет, чтобы была хорошая погода, и вы идете в лес. И вам приятно и весело. Это она предотвращает катастрофы на улицах. Это она сделала так, что девяносто девчат нашли своих парней. А без нее они могли бы и не встретиться. Правда, она не может выполнить план даже маленького завода или фабрики. Ну не беда. Это могут сделать другие. Читайте газету. Пусть Катя живет!

– Это же королева Усть-Манска, – сказал кто-то.

Мне поверили, и теперь я знал: Катя будет жить, потому что все этого хотят.

Я зашел на главпочтамт и отдал ключ от газетного киоска. Потом я забежал на конференцию, и «зубры» из Усть-Манского политехнического института сказали, что я буду временно работать в их лабораториях, что в моем фантазерстве что-то есть, что они уже дали телеграмму в мой институт о продлении моей командировки. Они понимали, что мне сейчас нельзя было уехать из этого города.

Я буду находиться здесь, в Усть-Манске, пока не докажу им, что можно видеть сквозь землю, пока Катя не выздоровеет, пока не начнется подготовка к экспедиции, пока мы вместе с ней не улетим на Север, в болота, в гнус, дожди и в песни.

Я бежал в клинику. В двадцати шагах от себя ничего нельзя было рассмотреть, такой стоял туман. Полста градусов ниже нуля. Редкий скрип шагов да пронзительные гудки машин и холод, холод… И в Усть-Манске, и в его пригородах, и на тысячи километров вокруг…

Я бежал к Кате, потому что она меня ждала.

1971

Город мой

С высоты птичьего полета город был похож на прилавок огромного обувного магазина с расставленными на нем в строгой симметрии серыми стандартными коробками.

По вечерам, когда на него опускались пыльные сумерки и улицы пустели, казалось, что люди укладывают себя в бетонные упаковки, а блестящие линии уличных фонарей напоминали бесконечный шпагат, во множестве мест туго завязанный на узлы мигающими перекрестками. Утром призрачные светящиеся нити улиц постепенно размывались и исчезали, и крупнопанельные упаковки, словно облегченно вздохнув, выпускали из-под своих крыш тысячи горожан, спешащих на работу, озабоченных домохозяек с авоськами и молочными бидонами, тучи вечно взъерошенных ребятишек и косяки стройных девчонок.

В эти нежаркие утренние часы, особенно если ночью шел освежающий дождь, город словно приподнимался на цыпочках, протягивая к солнцу зеленые ветви своих молодых скверов, бульваров и садов. И тогда пропадало ощущение размеренной серости и нелепости существования города, и город улыбался. Иногда в этой улыбке сквозил восторг, словно он видел себя сильным, красивым и нравящимся людям.

Но скоро трубы фабрик, заводов и электростанций заволакивали голубое небо белесой дымкой и пылью, и город понуро наклонял голову к асфальту, опуская вниз запыленные худые руки, распадался на бесконечный ряд серых бетонных упаковок, стыдясь своей безликости и недоумевая, что заставляет людей плодить штампованные унылые кварталы.

Город знал, что он некрасив и бесформен. Но он был удобен. В квартирах газ и вода, в соседнем доме магазин, через два квартала кинотеатр, в двадцати минутах езды драматический театр и филармония, в пятнадцати километрах тайга, теперь уже просто лес с жестянками, битым стеклом, порезами на деревьях, киосками «Пиво-воды» и прокатными пунктами, но зато и с цветами, лохматыми лапами кедров и капризно изогнутыми ветвями берез.

Город мучился сознанием собственного несовершенства и неполноценности, но в какой-то мере его успокаивало то, что он все же нужен людям.

…Виталий Перепелкин покидал Марград. Он поссорился с ним. Они не поняли друг друга. Виталий Перепелкин обиделся на город.

– Да я отсюда ползком уползу, с закрытыми глазами, – в какой уже раз говорил он своей жене. – И не расстраивайся ты, Зоя. Усть-Манск ничем не хуже Марграда. Даже во сто раз лучше. Построю там «падающую волну». А потом еще и еще. Представляешь, какая будет красота?!

– Уж я-то представляю, – сухо ответила Зоя.

– Да! Надо же посидеть молча перед дорогой, – вспомнил Виталий и устроился на краешке стула. – Ну что ж, пора. Через месяц получу квартиру в Усть-Манске и приеду за вами.

Из спальной комнаты вышел карапуз лет двух от роду и сказал:

– Папа в командиловку е-е-дет…

Виталий схватил сына в охапку, повертел его в воздухе, поставил на пол, поцеловал жену куда-то в ухо, бодро сказал:

– Ну я пошел, – потоптался еще в коридоре, подхватил чемодан, решительно открыл дверь и перешагнул порог.

Пролет в десять ступенек, всего девяносто ступенек, обшарпанная входная дверь с именами, выведенными неровным детским почерком, куча ребятишек, прокладывающих автотрассу в груде песка, стук домино, классики на сером асфальте, завывание саксофона на втором этаже, старушки, серьезно обсуждающие проблему внучат, веревки с белыми простынями, аккуратно политые березки в палец толщиной.

Перепелкин дошел до угла здания и остановился. Не мешало бы купить сигарет, в вокзальном буфете всегда столько народу. Он обогнул дом, выкрашенный зеленой краской, которую наполовину смыло дождями, так что виднелся серый бетон, и повернул по тротуару со стороны улицы в противоположную сторону от вокзала. Здесь, в соседнем доме, был гастроном.

Обрадовавшись тому, что не встретил никого из знакомых и не пришлось объяснять, почему в руках чемодан, он вышел из магазина и не спеша двинулся к вокзалу. До отхода поезда было еще почти час времени. Ему надо было пройти три квартала по улице Шпалопропиточной и свернуть направо к привокзальной площади.

Он шел, стараясь не думать о городе.

Примелькавшаяся монотонная улица с одинаковыми домами, однообразие которых только усиливала их разноцветная окраска, не привлекла его внимания. Только пивной киоск на углу разнообразил архитектуру улицы. Поравнявшись с ним, он свернул направо, на проспект Рационализаторов, прошел еще метров пятьдесят и почувствовал что-то непонятное. Привокзальной площади не было. Вместо нее перед ним стоял дом с гастрономом, откуда он только что, семь минут назад, вышел. А впереди тянулась улица Шпалопропиточная с его домом, другими домами и пивным киоском через три квартала.

– Вот так задумался, – негромко сказал он вслух, взглянул на часы и успокоился. Времени было еще достаточно. – Такой круг дать! Подумать только!

Он снова пошел вперед, но теперь, помня, что в раздумье такого маху дал, он с интересом рассматривал свою тысячу раз виденную улицу. С нее все и началось, когда он проектировал ее и вместо стандартного пятиэтажного дома № 93 вписал в улицу дом типа «открытая ладонь». Еще в строительном институте придумал он эту «открытую ладонь», а тут не утерпел и вставил в проект. Проект вернули с шумом и выговором, хотя «открытую ладонь» можно было сделать из стандартных блоков.

Сейчас, представив на месте дома № 93 свой дом, он признал, что «открытая ладонь» выглядела бы нелепо среди этих пятиэтажек. И все же он был не совсем не прав.

Тогда он еще не знал, что это были его первые шаги в сегодняшнем пути на вокзал.

Около пивного киоска он закурил сигарету, повернул за угол, поднял голову и увидел гастроном. С городом творилось что-то неладное. Теперь-то уж Перепелкин точно знал, что не сделал никакого круга. Он несколько минут постоял, растерянно оглядываясь, и повернул назад.

За углом гастронома была улица Шпалопропиточная, а через три квартала виднелся… сам гастроном… Какой-то чертов круг! Куда ни пойди, везде улица Шпалопропиточная. Перепелкин решил, что назад идти нет смысла, и повернул около пивного ларька направо. Перед ним был гастроном, улица Шпалопропиточная, а через три квартала виднелась кучка людей у пивного киоска.

До отхода поезда оставалось минут сорок. Возле магазина было довольно многолюдно, и Перепелкин чуть было не налетел на инженера Сидорова из своей группы проектировщиков. Сидоров был лет на пять старше Виталия и спроектировал не одну улицу в Марграде. Они поздоровались: Перепелкин испуганно, а Сидоров – растерянно, потому что только что вышел из квартиры Виталия. Он не знал, что тот сегодня уезжает, и приходил уговаривать его вернуться в управление главного архитектора.

– Так-таки уезжаешь? – вымолвил наконец Сидоров.

– Уезжаю! – с вызовом ответил Перепелкин. – Надоела эта канитель. Не хочет, не надо…

– Кто не хочет?

– Кто, кто! Город! Не хочет стать красивым – пусть таким и остается.

– Город-то хочет. Только главному архитектору и в горисполкоме надо доказать.

– Так ведь пять лет уже доказываем! – сказал Перепелкин и, спохватившись, что сказал не то слово, поправился: – Доказывали то есть.

– Нет, не доказывали! – вспылил Сидоров. – Доказываем! Доказываем и докажем! И Марград станет красивым!

Перепелкин ничего не ответил и переложил чемодан из одной руки в другую.

– Значит, уезжаешь? – снова спросил Сидоров. – А я ведь у тебя сейчас был. Не знал, что ты так скоро.

– Я вот сегодня подумал, – сказал Перепелкин, – в жилом доме типа «кленовый лист» у нас планировка двенадцатого этажа все никак не получалась изящной. Надо бы на пять сантиметров поднять потолок и поставить «летающие» перегородки.

– Так ведь кто-то предлагал уже…

– Кто-то! Ты и предлагал. Все так и надо сделать, и тогда «кленовый лист» вырвется на простор.

– Тебе-то что до этого?

– Ах да. Ты извини меня. Опаздываю я.

– Не вернешься?

– Ни за что на свете. – Но в его голосе не было железной уверенности. Пусть Марград таким и остается, если ему это нравится.

– Вернешься, я тебя к себе на работу не возьму. Учти, – предупредил Сидоров своего бывшего начальника и ушел, не попрощавшись.

Перепелкин снова переложил чемодан из одной руки в другую, но не успел сделать и десяти шагов, как из магазина слегка навеселе вышел двоюродный брат его – Сметанников.

– А, Виталька, черт! – заорал он. – Давай-ка по стаканчику!

– Понимаешь, Петя, – ответил Перепелкин, – мне на вокзал надо. Времени уже осталось мало.

Оба стояли, не зная, что еще сказать друг другу. Потом Перепелкину вдруг пришла в голову мысль.

– Послушай-ка, Петя, может, ты проводишь меня до вокзала? А?

Сметанников на секунду задумался, достал из кармана мелочь, пересчитал ее и твердо произнес:

– Провожу.

Перепелкин уже начинал понимать, что одному ему за этот злополучный угол не повернуть. И он решил, как только они подойдут к нему, вцепиться в локоть своего двоюродного брата, закрыть глаза и таким образом прорваться наконец к вокзалу. Сметанников начал что-то рассказывать Перепелкину, но тот слушал его очень невнимательно, лишь иногда невпопад вставляя слова: «Да, да. Угу».

Сколько ночей они просидели всей группой, реконструируя на бумаге Марград и застраивая его новые кварталы. Прекрасный город получался у них. В Москве даже удивлялись. И в самом Марграде вроде бы одобряли. Но дальше этого не шло. Каждая квартира в доме типа «открытая ладонь», «планирующая плоскость», «голубая свеча», «кленовый лист», «падающая волна» и других стоила на пять процентов дороже обычной, стандартной. А где их взять, эти пять процентов?

В Марграде строился новый дизельный завод, и нужны были тысячи квартир. Срочно, немедленно. Тут уж было не до «кленового листа». Всегда так. Сначала хоть что-нибудь, а потом уже получше, но снося это самое «что-нибудь». Перепелкин доказывал, что через десять лет все равно придется сносить эти серые уродины, и тогда уж государство пятью процентами не обойдется. С ним соглашались, но говорили, что это ведь будет все-таки через десять лет, а не сейчас. А квартиры нужны сейчас. А пять тысяч семей, живущих в старом Марграде в подвалах и полуподвалах? Им сейчас не до «планирующей плоскости».

Пять лет Перепелкин бился и доказывал, а теперь вот уезжал в Усть-Манск, потому что там решили строить новый жилой район из домов типа «башня» и «нож». Это, конечно, не

«кленовый лист», но все же близко. И потом, может быть, со временем удастся построить и «открытую ладонь».

Перепелкин устал убеждать и теперь уезжал из Марграда, как уходят в гневе и обиде от близкого человека, не понимающего тебя, чтобы через мгновение одуматься и с болью признать, что возвращение уже невозможно.

До пивного киоска оставалось шагов тридцать. Перепелкин вцепился в своего двоюродного брата железной хваткой. Тот что-то напевал, попутно давая пояснения. До поворота оставалось двадцать шагов, пятнадцать. И в это время Сметанников увидел свою жену. И Перепелкин увидел ее. И она увидела их обоих, причем значительно раньше, потому что стояла в позе полководца, широко расставив ноги и уперев двухкилограммовые кулаки в бедра.

Сметанников только присвистнул, вырвался от Перепелкина и опрометью бросился в обратную сторону. Его жена тоже взяла с места в карьер. Свирепый ветер чуть не опрокинул Виталия на асфальт. Осторожно, как в полусне, дошел он до поворота. За углом снова был гастроном и улица Шпалопропиточная.

Перепелкин стиснул зубы. До отхода поезда оставалось двадцать минут. Мимо него, как пуля и пушечное ядро, пронеслись Сметанников и его жена. С одного взгляда можно было понять, что Сметанников не продержится в лидерах и двадцати секунд.

Перепелкин увидел свободное такси и выбежал на дорогу.

– На вокзал, опаздываю! – взмолился он.

– Садись, – открыл дверцу таксист.

Машина лихо развернулась. Перепелкин отдышался. Теперь-то уж его не задержит перекресток. Такси все-таки. Каким образом такси может ему помочь, он не понимал, но был уверен, что на сей раз все кончится благополучно. Таксист включил правый поворот. Перепелкин зажмурил глаза. Резко завизжали тормозные колодки, таксист выругался. Виталий со страхом открыл глаза. Такси стояло перед гастрономом.

– Не получилось, – прошептал Виталий.

– Что за чертовщина, – выругался шофер. – Ведь трезвый я.

– Попытайтесь еще раз, – попросил Перепелкин.

Такси вывернуло на проезжую часть и снова понеслось к перекрестку. Перед поворотом таксист сбавил скорость.

Снова визг тормозов. Такси стояло возле гастронома.

– Вы что-нибудь понимаете? – испуганно спросил шофер.

– Понимаю, – ответил Перепелкин. – Теперь я все понимаю.

Он расплатился с таксистом и вылез из машины. Шофер сидел с побледневшим лицом и тут же отказался везти кого-то в аэропорт.

Теперь Перепелкин все понял. Город не хотел отпускать его. Но с какой стати! Он столько лет пытался сделать город красивым, а получал только выговоры и нахлобучки. Перепелкин снова пошел вперед. Он еще успеет на поезд, надо только поторопиться.

Он шел и думал, что город напрасно старается его задержать. Он устал, ему все надоело, а в Усть-Манске он сможет осуществить хоть маленький кусочек своей мечты о прекрасном бело-голубом городе. Отпусти! Остался ведь еще Сидоров и вся их группа. Пусть теперь они обивают пороги и доказывают. Отпусти! Ему все равно нельзя возвращаться после того, как он с треском уволился из управления главного архитектора. Теперь, если и останется, он ничего не сможет предпринять. Ну кем теперь его могут взять на работу? Техником? Инженером? А он и руководителем отдела ничего не смог добиться.

Отпусти!

Чуть не со слезами на глазах Перепелкин завернул за угол. На привокзальной площади толкался народ. По проспекту Рационализаторов трезвонили трамваи, старушки продавали

пышные букеты цветов. Встречающие и провожающие тащили чемоданы, корзины с овощами и фруктами. Стоял шум и гвалт.

У Перепелкина захлестнуло сердце. Путь свободен.

Он отдал проводнице билет, вынул из кармана сигарету и закурил.

– Товарищ, проходите, – сказала проводница. – Сейчас трогаться будем.

Он кивнул головой.

– Заходите, – сказал он. – Я, наверное, не поеду.

– Раньше надо было думать, – осуждающе сказала женщина. – Билет-то возьмете или как?

Но он уже махнул рукой и пошел к выходу.

Он успокаивал себя тем, что уедет завтра, ведь надо еще сказать Сидорову, что в «кленовом листе» необходимо поставить «летающие» перегородки, иначе получается не совсем то…

Он уже забыл, что говорил об этом Сидорову, и теперь думал о том, что надо хоть на полпроцента снизить стоимость здания. А это значит, снова бессонные ночи, снова идея, которая неделями будет смутно ворочаться в гудящей голове, пока не ляжет на ватман четкими линиями. Потом он подумал, что придется ездить в министерство, доказывать свою правоту на конференциях, строить макеты, получать выговоры за расходование рабочего времени не по назначению. Придется снова сколачивать группу, потому что старая уже начала разваливаться. Только Сидоров держится молодцом.

И еще что асфальт надо в городе сделать не серым, а коричневым, с разными оттенками, утопить дома в зелени, и не в обычной хилой и редкой, а в густой и могучей. А для ребятишек оставить гектары тайги прямо возле домов, с буреломом, колючими кустами, крапивой, ягодами и цветами, которые можно рвать и приносить домой маме. Разрешить пешеходам спокойно ходить по улицам, не оглядываясь по сторонам на перекрестках. Убрать дымящие трубы. И чтобы из каждого окна открывался вид на бескрайнее море зелени, чтобы город был напоен солнцем и чистым воздухом и можно было в любой час бродить по тихим, приветливым бульварам и проспектам.

Пусть будет проспект Света, переулок Ромашек, бульвар Роз. Он подошел к своему дому. Уже стемнело. Громкие голоса мам звали ребятишек домой. По столу все еще стучали костяшками домино, хотя уже ничего нельзя было рассмотреть. Старушки прощались и все никак не могли разойтись.

Обшарпанная дверь. Девяносто ступенек вверх.

Перепелкин открыл дверь своим ключом и переступил порог. В коридор вышла жена и сказала:

– Я поджарила тебе колбасы. Огурцов нарезать?

Он не успел ничего ответить, потому что она обняла его за шею и тихо-тихо рассмеялась. Уж она-то знала, что он никуда из Мар-града не уедет.

В домах гасли огни. Город засыпал, только блестящие линии, образованные уличными светильниками, как будто бесконечный шпагат, во множестве мест завязывали его тугими узелками перекрестков.

Город погружался в ночь, тихо вздрагивая в полусне, вздыхая, что-то шепча на ухо, тихо улыбаясь и ожидая рассвета.

А под утро по улицам Марграда прошел тихий ласковый дождь…

1971

Весна света

За толстыми керамитовыми стенами базы расстилались огромные пустыни снега, делавшие поверхность безжизненной планеты одинаковой во всех ее точках, однообразной, унылой и холодной. Планета словно не могла пробудиться от бесконечного сна.

Они сидели возле электрического камина. Он и Она.

Она родилась в космическом корабле. Все ее детство прошло среди предметов, сделанных руками человека. Землю Ей заменял пластик пола, вентиляция заменяла ветер, свет неярких светильников – солнце, вода журчала для Нее только из крана, магнитофонные записи заменяли пение птиц и шелест травы. И лишь цветы, невзрачные, тусклые, но живые и от этого теплые и приятные на ощупь, Она видела наяву. Цветы росли в главной оранжерее корабля. Их было около двух десятков. За цветами тщательно ухаживали, любовались ими, любили их, но они все равно гибли. Их становилось все меньше и меньше. Последний увял, когда Ей было одиннадцать лет и корабль подошел к искусственной планете диаметром в двадцать семь километров.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.